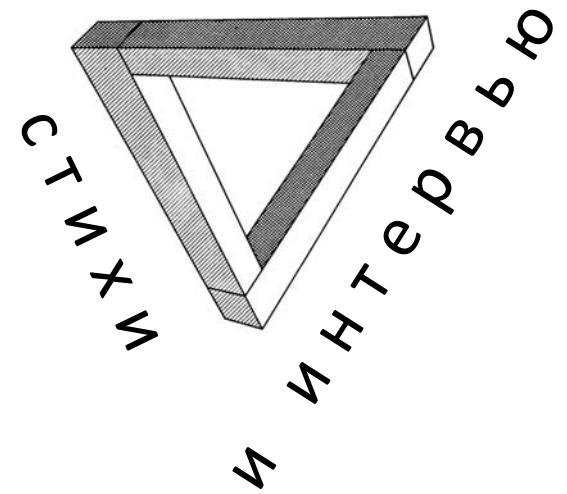




**МИШЕЛЬ
ДЕЗА**



Москва
пробел-2000
2014

УДК 821.161.1-1 Деза
ББК 84 (2Рос+Рус) 6-5
Д26

Мишель Деза
Д26 Стихи и интервью. – М.: ПРОБЕЛ-2000, 2014. – 276 с.
ISBN 978-5-98604-442-2

© Деза М., 2014
© «ПРОБЕЛ-2000», 2014

Сейчас мне 75 и душа, предчувствуя растворение во времени, пытается сделать порядок и накрыть стол до прихода Гости.

Всю жизнь я писал математические статьи и книги; с 1973, на английском языке, так как эмигрировал (из Москвы в Париж).

Пять из этих книг переведены на русский язык. Но в этой книжке собрана только моя ненаука на русском, т.е. стихи и интервью русско-эмигрантской прессе.

Стихи я писал в 1959-1962, просто для себя, и бросил. В 1983 в Париже, под тёплым давлением «Синтаксиса» (Афоня), издал у них сборник «59 – 62».

А в 2013–2014, опубликовал «73 – 76» (так как частью по записям тех перво-эмигрантских лет) в «Новой Юности», и затем совсем новые поэмы «Путями времени» и «Brevitas» в «Семь искусств».

Интервью были (в 1991, 1995–96, 2001 и 2008–09 годах) замечательным людям: писателям Саше Гольдштейну и Ире Солганик, критику Лиле Панн и издателю Ире Врубель-Голубкиной.

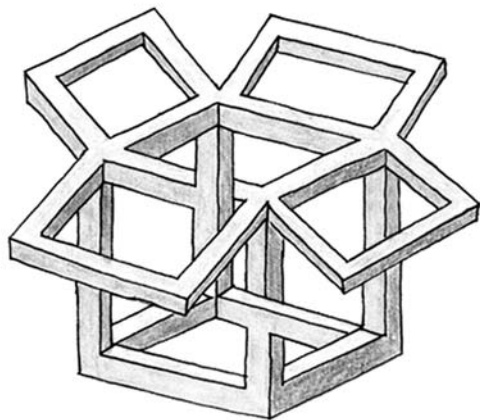
Мишель Деза, Париж, 2014



СТИХИ

москва, 1960-е

59 – 62



В мои двадцать-двадцать два, т.е. 1959-1962, у меня появился голос, но еще не было души. Коротче, я писал стихи и начал было жить этой второй безопасной жизнью в приручаемых словах.

Но что-то во мне просилось из воды на сушу, в застекольный хруст необратимых процессов, в жабры-раздирающее пение и кисло-сладкое беззаконие «ревльной жизни», приютившее Рембо. А может быть это от уважения к неСлову и Тьме (как не было слов в песнях моих хасидских предков).

Итак, я запретил себе-ему записывать чувства, образы etc. Возможно было лишь произнести, т.е. только в несправедливом окружении собеседника, на милость его памяти и корысти, для защиты и соблазна. Так стали мои слова евреями слов, страховождённые и без страха смертные.

Как траппист кует из молчания звуком, так и я стал скульптурой своего молчания письмом.

Вместо подлого бессмертия и второго шанса литературы, вместо истекания, я стал сам погоней и замыканием кривых.

Так напрыгал я себе, как лягушка в молоке, маслице души.

А ценою этому явилась моя неслучившаяся карьера малого московского поэта.

С той славной преступной пары прошло более 20 лет.

Пусть плеснётся здесь, в зеркальце несуществования, этот неживший, старший и страшный брат. Нижеследующее (с малыми сокращениями) – что осталась от него.

П О З Н А Н И Е

Познание – ученые ползут друг за другом по запаху.

-

Куда ни посмотри на мир, в темной Стене открывается ход на всю ширину взгляда.

Сверкают в отверстиях бледные зубы и звенят клинки.

-

В достаточно большой куче навоза всегда есть жемчужное зерно, в любом достаточно глубоком колодце лежат ключи от всех мировых тайн.

-

Все турбины в мире богов вертятся на энергии человеческих отношений.

-

Надо познать все методы доказательства, чтобы знать, каким языком нельзя говорить с божеством.

-

Существование Бога – это юридический вопрос доверия к опыту.

-

Допустим, Бог решил все объяснить людям, – но было плохо со средствами связи. Он, скажем,

сообщает по одной букве в тысячу лет. Пока мы просто беспокоимся между двумя буквами.

Прошло 6 тысяч лет, а Бог начал с длинного слова.

- Боги живут в промежутках несравнимых миров. Бесконечность не есть очень много наших конечных предметов.

Она создана из своих непостижимых кусочков.

- Познание – смотреть в огромную замочную скважину с подобающим страхом и завистью.

- Познание – террор относительности, озарение и судорога лицемерия, жертвоприношение гипотезы.

- Как рожденный женщиной не страшен, так созданное человеком вызывает не более, чем родственническое любопытство, панибратство и зависть.

- Законы природы – выражение на лице Бога. Медленно меняется у него настроение. Что будет в пятом веке после нашей эры?

- Я видел один из прекрасных миров. Ничего не скажу о нем – я не доносчик. Когда-нибудь за это будут пытаться.

Позор Ницше, Метерлинку и Ньютону. Ах, прелесть молчать о совершенстве, ничего не запоминать и не повторять дважды.

- Компромисс между творчеством и «зачем ты это делаешь» происходит у меня даже раньше появления первых слов-добровольцев.

Трудно тащить собственный труп, хоть бы и пять метров.

- Самоцель познания – компактность, уменьшение энтропии.

Ассоциация пытается заменить два объекта новым третьим.

Факты сублимируются в закон.

- Что есть Вселенная – разросшиеся ли это ветви травы или разросшиеся это корни травы? Что такое добро, длина ли это стрелы?

Что такое зло, глубина ли это стрелы?

Что есть Вселенная – условие ли задачи, записан-

ное в эфире, или решение ее, записанное в явлениях?

- Готический метод – решать проблему в лоб, вглубь, объективно, как саранча. Метод дьявола – интуиция, случайный поиск.

Трясти задачу, пока из нее не вывалится золотая монета.

- Всякая мысль вызывает отвращение, как одеяло, накрывшее пламя, как окрик свыше.

- За смертью, за первым глотком вечности следует познание второго смысла символов.

- Ежесекундно в нас сгорают александрийские библиотеки.

- Искусство проходить сквозь стену. Изучать ее с нарастающим вниманием, обнаруживая ее неизбежную неоднородность, второстепенные несовершенства, потенциальные мелкие слабости. Накопление этой алмазной пыли—информации МОЖЕТ превратиться в лавину, взгляд начнет немного жечь, появляются фокусы света, малые

гало и смерти. Разрыв происходит скорее, чем ожидалось – стена как бы помогает. Расширение точки разрыва можно делать уже при отливе воли; только инерция и измерение себя проходимостью стены.

Потом надо рассказать другим... Потеря дыры.

Нельзя пройти сквозь стену – назад.

ЭВОЛЮЦИЯ

Может, земля – это чей-то зоологический музей. Все земные виды завезены каждый со своей планеты, где они представляли жизнь исключительно. Такая площадка молодняка.

- Аизнь, бизнь, визнь, гизнь, дизнь – вот основные формы жизни, представленные на нашей планете.

- В любовной спешке дешево нас приобрел создатель.

- За 10 в степени 10, скажем, лет из лягушки можно сделать человека или двух.

- Как искра по бикфорду бежит человеческое «сейчас» по тропке эволюции, приближаясь к взрыву. Детонация вызовет нового несравнимого гомида.

- Машина – это сюрреалистический человек, квинтэссенция нашего вкуса, самоцель и мера.

- Приехал тип с другой планеты и решил, что люди – органы размножения машин. Он пытается постигнуть обычаи машин, расшифровывает как-то хаос гудков, жужжания станков, радио и т.п.

- Слезть с дерева, начать разговор, выдумать огонь – непостижимо трудно. Рыбе вылезти на берег, самцу подойти к самке – подобного мы не смогли бы выдумать сейчас.

Прошлого не было. Время беспорядочно шарит фонариком по немалой темноте, выхватывая куски неподвижного объема.

- Ни эволюции, ни даже регресса приличного не видно.

А чувствуется периодическое вращение знаковых систем.

- Схема эволюции – иерархии циклов времени, стягивающаяся к пустому трону Бога. Какова степень независимости земной эволюции? Платим ли мы дань?

- Эволюция только тактик, она не видит дальше мгновенья, но видит все в радиусе мгновенья. Она трудится (т.е. делает что-то неприятное, чтобы потом было легче) и не эволюционирует. Для сохранения понятия развития удобно считать, что механизм развития неподвижен. Метафизика стоит за спиной у любой диалектики.
- Что, если у человека желание конструировать уже сильнее, чем у природы?
- Поставить перед видом задачу, ввести летальный фактор. За какое время вид решает задачу, т.е. через сколько популяций проявляются изменения особей, полностью нейтрализующие этот фактор? Сколь быстро исполняются распоряжения Бога? Это мера инерционности. Показывает ли она возраст и перспективность вида?
- Каково N неполной индукции у различных существ, т.е. число повторений для выработки

условного рефлекса при фиксированной значительности его для особей?

Обычно это 2, 3, даже 1, потому что в этом хаосе нужно ловить каждый удачный случай поесть, выжить, размножиться. Еще не пришел великий полдень, схватано меньше половины добра и априори выгодней вступить в любую реакцию, чем не вступить.

- Исследования сводятся в конечном счете обычно к перебору числа вариантов сравнимого с числом пальцев. Возможно, что лоскут 1, 2, 3, ... 20 не представитель для Чисел. Переход к большим переборам изменит архетипы.
- Оптимальная стратегия: на все возможные вопросы «да или нет» отвечать случайным образом. Это надежнее любых индукций. Большое Ведро себя окажет. Случай удачливей личности.
- Построить алгебру каждого организма на продолжительностях функциональных процессов.

Так, почти не замечая целесообразности, можно объяснить структуру, геометрию организма.

- В N-ярусное трубчатое дерево запускать много муравьев по очереди. Очищать после каждого, чтобы система не имела памяти.

Цель – график распределения числа муравьев по 2 в степени N банкам в конце каждой ветви. Это анкета из N последовательных вопросов: «право» или «лево»? Вдруг в виде инстинкта у муравьев (единственная толпа на плоской поверхности, кроме людей) сложилось что-то вроде правил уличного движения?

- Что возбуждает в женщине: геометрия силуэта или гипотеза о содержимом?

- Первый страшный суд, первый Интеграл будут только началом в процессе повышения ставок.

ЗНАКИ

Дать название. Против двадцати томов подробного описания предмета встают пять букв – камикадзе.

Фермопилы, клеймение мустанга, азарт грубого дележа, волнующая краткость будущего. Мгновение неожиданно оборачивается лицом ко всему прошлому. Пуля требует равенства с убитым.

- Название – это специфический вирус для предмета.

Их разделяет пропасть размеров, давно ставшая качеством.

Название – жених предмету, прибывший из другой культуры.

- Чем бессмысленнее элемент культа, тем древнее его целесообразность.

Чем неутилитарнее идея, тем позднее придет ее необходимость.

- Мои записи – это описание механических движений, силуэтов и поверхностей отдельных предме-

тов. Если взять любое абстрактное понятие и немало расшатать его смысловые обстоятельства, то часть этой энергии превращается в материю. Понятие обретает массу и поверхность. Поверхность, а не вес, не объем и уж не смысл, конечно. Для меня описание – это кратчайший прыжок страсти.

- Слова – это юные звери, они занимают место. Они созывают звуки и строят отдалённые замки. Строятся в шеренги и замирают. Мелкая дрожь прутьев решетки.

- Приблизиться к кухне мастера. Жарко, судорожное всхлипывание масла, волосы в котле. Густейший запах личности, интерьер смердит, хамит и лезет в люди. Нечистоплотность гениев. Они – заложники будущего в наших руках. Мастер обслуживает свое творчество как лифтер.

- Есть надо не вместе. Спать надо не вместе. Отделенные высокими хребтами, стоят кабинеты мастеров.

Снуют подмастерья и делают выводы. Мастера встречаются друг с другом редко, как короли, и обмениваются дорогими подарками.

- Вещь должна быть свежей, как кусок сырого мяса – любая страница с фразами, пятнами и формулами. Идеи, обнаженные как надежда и угроза, азарт, извращения из гремящего черного серебра, грохот шаров, брошенных в пустой зал серого кафеля.

- Люблю слова любовью чистой и запретной. Осязаю их как поверхности веществ неловкими пальцами.

В молекулах слов мерцают, как на запылённой лампе, контуры иных предметов – совокупление контуров – точная наука шаманства. Пальцы трогают уголки губ и глаз. Не торгую словами, но не способен в одиночку есть блюдо из собственного мяса.

- К максимально бессмысленному тексту, к фразе наибольшего удивления – текст священных книг, уставов и бреда: слова, пресмыкающиеся и земноводные, заново встающие за страхом и слабостью.

- Искусство – ассенизация, уравнивание мелочей с главным.

Искусство заметать следы. Наслаждение хоронить мотивы.

- Идея рождается как протест против всех предыдущих.

Она пантеистична, как щенок.

Пытается завязать знакомство с первым же встречным предметом. На двадцатой секунде холод рвет ее в талии: половину обратно в хаос, половину на полку в мрамор.

- Провоцирую истерику, потом собираю осколки. Урны. Кладбище. Каждое движение и знание еще больше обуславливает меня.

Становлюсь мелочным и изобретательным.

Что может быть печальней фактов и свойств, неотделимых от тела.

- Если придет в голову удачное сравнение. Не легко, не трудно, а просто случайно упало на голову, как помет валькирий.

Гадкое наслаждение сделать из него центральную пуговицу для нового костюма.

- Когда пишешь, надо рассчитывать, что боги просматривают всю литературу, появившуюся у людей. Чтобы тот, кто будет искать аналогии и толкования, разбился о подводные камни текста.

Пусть мотивы сможет постигнуть только наипрекраснейший и пусть они обратят его в камень.

ЧЕЛОВЕК

В человеке столько изящества, излишней роскоши, украшений, достойных лучшего мира.

- Мечемся друг за другом, вступаем и молниеносные союзы, как будто кто-то сказал, что скоро будут давать бессмертие и силу, но не более двадцати пар.

Друг – это знать милые слабости, используя которые можно при случае проскочить перед ним на прием к Богу. Всякий стоит ровно столько, сколько о себе думает, и получит столько, сколько хочет.

- Впитать в себя все общеживое, общеземное, отказываясь постепенно от чисто человеческого, все время расширяя понятие своего брата, друга, племени.

- Люди обычно ищут самодоказательство вне себя, в порожденных ими изменениях мира.

- Менять способности по умению создавать хаос и достойно вести себя там.

- Моральный статус человека измеряют не его долей в обеспечении общественной удачи, а его долей в перенесении страданий.

Это идет с доморальных времен, с родительского и полового права. Считается, что шкала страданий тоньше, важнее и универсальней, чем радости. Люди больше боятся страданий, чем хотят радости. Радость – это лишь осознание отсутствия страдания, неудача врага. Будто бы страдание первично.

- Хорошо бы открыть новые мотивы для жизни, я то старые уже убывают.

- Человек только сопутствует вещам, совершающим непонятные переселения. Я – пересечение вещей, содержимое пальто.

- Через каждые десять минут в человеке возникает новая личность, которая наследует организм. Жизнь сшивается из десятиминуток.

- Идеи возмездия и жертвы – атавистическое воспоминание о нашем божественном происхождении. Ее лишены животные и гении. А наша месть щедрa.

- Аскетизм – это способ обойти опыт, тактику. За протокольность в нем скрывается дикое барство ума. Но аскет понимает риск: он может опоздать на внеурочную раздачу.
- Информацию будут раздавать по карточкам.
- Достоинство – забывать, не познавать. Психоанализ – отыскивать в себе самом трепещущее дитя, чтобы раздавить его раз и навсегда.
- В музыке осуществляется вековая мечта крысы о волшебном мире сала.
- Человечество – подсознание Бога.
- Человек – личинка ангела, прототип дьявола.
- Это дурной дон, разбежавшийся зоопарк. Боже, неужели мы и в самом деле предоставлены самим себе?
- На Земле еще слишком мало людей. Еще не все возможные типы представлены среди живых.

Мы – еще толпа патрициев, родоначальников. Еще нет кворума для принятия решений.

- Мы умеем ходить, плавать и летать, умеем говорить и передавать информацию на немалые расстояния, умеем добывать огонь и атомную энергию, мы знаем несколько способов делить добычу и кое-что еще. Мы молоды, о Боже, как мы молоды. Черпаем информацию из хаоса слишком редким решетом. Идет эпоха первоначального накопления знаний, и я – один из молодых идалго, покинувших континент, чтобы найти свое Перу.
- В мозгу современного человека вырос Минотавр, требующий десять открытий в день. Мы живем за счет непознанного, как и за счет флоры и фауны.
- В окончательные моменты творчества совершается убийство пророков и исполнение проклятий. Но тут есть и неутилитарные цели инстинкта – барщина Богу.

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ

Чувствую себя объектом невидимого химического контроля со стороны общества и природы, и я хочу стать раковой клеткой. Только раковая клетка добивается диалога с организмом.

-

Пройти смерчем, оставляя за собой пылающие проблемы, переполняя дороги, прокладывая рельсы. И пусть уцелеют маленькие, ошалевшие от страха деревни черных муравьев. Пронзить одного из титанов, исчезая с ним.

Конечно, Боже, я могу и обмануть тебя...

Боже, не смотри, что я один; за моим голосом армия – 1 человек.

-

Жизнь – неподвижность капли в экстазе сорваться, выпуклые до касания глаза вахтерши, спокойствие, можно шалить.

Смерть – движение в темноте, сырые стены, от них легонько бьет электричеством. Низкие потолки, коридор военкомата, Боже, когда кончится эта лестница, промахнуться в темноте, МИМО... Приблизительность. Шар круглый, а тут протяженность, кровь хлещет из горла трубы.

-

Пробьюсь в кабинет Бога в его бетонном бункере, напорювшись в последний момент на пулю из его личного пистолета.

Превращусь в его страх и предам его в следующий подобный случай.

-

Ницше – это время года; зима, переходящая в весну.

-

Но так было всегда. А я все равно боюсь.

Нетрудно, приложив руки к груди, услышать там страх кистепёрой рыбы, выполняющей на берег. Укусить могут спереди и сзади.

Страх органической капли, пылинки из туманности. Страх – это золото, накапливающееся в процессе познания. Это вкус яблока, неисчерпаемость и неутолимость его.

-

Живу с тем чувством, что вся поверхность мира – раскаленная сковорода. После каждого шага прыгаю, возвращаюсь и т.д.

От этого – подвижность, любопытство, донжуания страха.

-

За крошку со стола богов отдам все человеческое. О, спрячь в себе, медная дверная ручка, клад моей ненависти.

с м е р т ь

Простенькая радостная микромелодия, отделяющая жизнь от неорганического, предсмертный тихий звон рвущейся папиросной бумаги.

-

Большинство людей, подвергшихся смерти, умерло.

Смерть – это действительно серьёзная болезнь. Похоже, что все остальные болезни – только ее детонаторы. Смерть излечивается только в исключительных случаях; так редко, что многие не верят, например, в воскресение Христа. Вообще, по-видимому, возможности наших рук шире возможностей нашего воображения.

-

Умереть усилием воли.

-

Пусть пристально глядят акулы в иллюминаторы кают.

-

Люди, не выдержавшие последнего пустячного испытания, не договорившие заклинания.

Окоченевшие трупы лежат в пяти метрах от великих открытий.

-

Издохнуть на берегу Великого Океана.

-

Не верю в смерть, не впущу серого волка. Если умру – не верьте ни одному моему слову. Он умер – значит, он лгал.

-

Когда изобретут бессмертие, смерть перейдет из аксиом в теоремы этики. Ведь нельзя же допустить массовое бессмертие.

-

Смерть. Прелесть последних минут, волшебство трещин в племени мрамора. Мужчины и женщины наконечника стрелы

пейзажи

Сверкает между сосен декольте реки.

Берега ее оторочены бегущими соболями.

Вода ее – чистая ртуть. Плывут в ней, незамеченные, стаи стальных иголок, оловянные бруски, колечки, чугунные плитки.

•

Письменный стол. Объемное слово разложено по плоскостям. Ветер через форточку вдувает на столе бумажные пузыри. Стекланные торы безумно легки. Вздрагивают на остриях предметов.

•

В отдаленных залах зеркальца дли бритья разбросаны твои отрубленные пальцы, волосы и уголки губ.

•

Шоссе ночью. Жемчужные лампочки прокусывают воздух до желтой крови. Ночь зализывает укусы влажным языком. Как кошки, перебегают дорогу черные автомобили. Проходят облака, как усталые воины после тяжёлой победы. И гербовая печать луны освещает всю эту утварь – придает всему официальность.

•

Роскошь от развалин дома. Развалины моря и леса.

•

А если сейчас я иду и в глазах моих юношеское серебро ... и руки темные и гибкие как бронза... А в порту южного полушария два часа ночи и дома оставлены на асфальте как горки грязной посуды. На улицах валяются корки хлеба и апельсинов. Ночные ветры изредка гонят по переулкам фантики от дорогих конфет – женщины в шуршащих платьях и ярких плащах. Они торопятся домой, обходя объедки, отворачиваясь молча от пристающих на перекрестках ветров. Дождь холодной водой сполоснул дома и кучи и уголки между будками... В ладонях катаются шарики. Поверхность их не отражает ничего снаружи и не пропускает никого изнутри.

•

Фонари – это маленькие лжинки, засыпавшие город.

Догмы представляют суммы степеней 2. Стекла – вы подражаете Ничему. Собираю оборванные телефоны – им надо вспомнить между собой. Собираю черепки зеркал – им тоже.

Положите все на место, как было. В заключение надо аккуратно всунуть лифты в темные пролеты лестниц.

З В У К И

Журчанье булыжных струй. Лопаются глобусы.

•

Уже разбиты стекла в горошек цоканья копыт.

•

Шелест кованых подков все нежней и свежей.

•

Тремя выстрелами из пистолета убил стеклянную вазу.

•

В просторных внутренних залах гитары притихла одинокая муха. Эфир мягко колышется, качаемый змеиной головой.

•

В серебряной оправе каменный плевок.

Плевок жемчужины в браслете.

•

Народ молчит, как раздавливаемый жук.

•

Коснуться. Игла. Стелется. Укол. Пирс. Цель. Дюз. Семь. Кесь. Лось.

•

Обезьяна: о-хо-хо йанисса, о-хо-хо йануну.

•

Гамма: Переключение Анджело, Убийца Птиц и Лень тю Римли.

•

Аскет. алмаз, точка. Ацтек, агат, щадить

прикосновения

Ощупай меня рукой вора в темноте, рукой глухонемого и парализованного. Жужжи пчелой в моих волосах.

•

Реабилитация женщиной.

•

Глаза твои – кратеры презрения, волосы – рыжий пепел, фигура немного громоздка к поясу. Несколько грубых условностей – скулы, груди и бедра – небрежность, небрежность...

Лицо твоё – крашеный мрамор. Твоё теплое влажное тело я не смогу рассовать по всему Городу.

•

Твоя рука касалась меня. Не было ничего, что не касалось меня. Воля выполнить, обгоняющая движения.

Ты останавливалась и шла, спотыкаясь. Мы спешим и замираем в удаляющемся грохоте безумно скачущей повозки.

Твоя кровь вливается в мои артерии и тяжкая сила набухает в моих пальцах. Вонзаю их в мягкие страны, проваливаюсь и ползу вниз... Боль тонкими нитками штопает ужасную рану.

•

В твоих волосах цвета пыльного колоса ласточки свили гнездо.

Они запевают ночью и просыпаются хищники, гиены и зоркие тигры. Гиены и зоркие тигры прыгают в лунные люки, прыгают в лунные диски. И в черную вату завёрнуты драгоценные звезды.

Когда умирают женщины, их груди превращаются в олово.

Д В И Ж Е Н И Я

Лифт выбивает крышу дома.

•

Взлететь. чтобы не садиться, плыть от берега, выбиваясь из сил.

Есть ли сверхъестественные барьеры, через которые не может перелиться эволюция?

Есть ли последние реки, через которые нельзя перекинуть мостик из человеческих рук, ковер поколений, превращение колен?

Есть ли звенящие пропасти, через которые не перепрыгнул бы дивный зверь продолженная рода – творение сандала и мускуса, исполненное очей?

•

РВАНЕТСЯ ВЕТЕР, РАЗРЫВАЮЩИЙ СТЕКЛА, вздымая флаги и прижимая платья к силуэтам женщин.

•

Ветер гонит по небу звезды, гонит сына от матери, мужчину к женщине. Он бьет в кривые морды скал – кует в них ту дивную форму, которая бы не оскорбила его взгляда.

•

Здесь цепенеющие кручи и истекающие облака.

•

Всякая боль начинается тогда, когда желание разжимает когти.

•

Нет любви сильнее, чем у хищника к добыче – в их отношениях есть бритва водопадов и ужас быстрых рек.

Тоска ножа по ране, ненависть его к пустоте и мечта о ножнах.

•

В то время, когда оседающие гильзы кончают свой путь, когда захлопываются двери и отшатывается зверь.

•

Стрела не знает мира. Она несется, остужая рану на лбу, обгоняя собственный ужас. Он стекает с ее одежд на скоростях, больших узнавания. Но брызги обжигают, и это месть стрелы.

•

Игла хочет величайшей силы на кратчайшее мгновение.

Если самоубийство, то прикосновение к высокому напряжению, прыжок из ракеты.

- Стрела бесконечной длины назад. Прошлое, океан, исповедники причин и формы, место, откуда растут пальцы.

Там плавает странное животное – цель, и переживает всё продолжающуюся суету творения. Туда возвращается Время по окончании вечностей, называя их на ожерелье дюз.

На кончике стрелы мгновение “сейчас”. Это не точка, а очень маленькая площадка. Из-за нее сопротивление воздуха.

И гигантская стрела не может коснуться шара бесконечного радиуса.

- Бесконечная стрела касается бесконечной плоскости. Тись.

Часовым – ножи. На реях повисли японцы. Маленькие существа у основания перпендикуляра загнипнотизированы высотой его луча.

О, ты прекрасна, возлюбленная моя, глаза твои голубиные!

Спесь мгновения, королевское достоинство его. Презрение аристократии секунд к буржуазии веков. Мгновение не нуждается в происхождении. Зато оно сжимает в ничто ВСЕ элементы будуще-

го. Сейчас мир детерминирован. Как дико меняются масштабы.

О, лизины лизинов! Материя требует сознания. Из каменного мешка вещи в себе доносится стук маленьких рук. Энергия требует объема, линия – ширины, тишина – оваций.

Чрезмерность точки укола создает религию.

Но подлая страсть к размножению. Мгновение взрывается, чтобы произвести другие. Причины обретают существование в республике последствий. Захлопнулась матка природы.

А все-таки ты прекрасна, возлюбленная моя, и очи твои голубиные.

- Очень длинная и тонкая нить разматывается взмахами катушки над очень глубокой пропастью. Возможно, что нить острая и холодная. Повидимому, очень темно.

И вот нить падает и падает в бездну нарастающими кругами.

А на самом конце ее привязан человек, готовый, без эволюции.

Он ползет вверх по ниточке к божественной КАТУШКЕ.

- Гигантский шар катится по высоким иглам разной высоты.

Они укалывают шар. Вспыхивают звоночки, дрожат высокие, слишком частые звуки возбуждения, мерный хруст, потрескивание, проблески, ровный мертвый свет от безумной скорости, перебрасывание, истязание света в очень маленькой комнате.

- Тонкий стерженек беспорядочно и очень быстро вонзается в среду и выскакивает опять, ощупывая ее жуткими пальцами слепой машины. Наконец, длинная игла возбуждения укалывает капсюль в клетке... Разливается бугристая жидкость, и чудовищно преображаясь, извиваясь в мелкой дрожи перенапряжения, клетка умирает на мгновение. А вафельный шар возбуждения струится дальше, наступая тяжёлыми сапогами в теплые переулки нервов.

Потом, в маленьких фиордах, вафельные шарики лопаются, и шипящая прохладная кровь свободно стекает по контурам среды, оживляя раненые клетки и унося убитых.

И вот, потрескивая в репродукторах клеток, скользит упругая Живая Вода – информация.

В мозгу еще теснее обступают меня хари непосредственных восприятий. Они сталкиваются и рассыпают искры конструкций.

- Качнулась люстра-дирижер. День выползал из темных ножен.

- Струи нарядных зрителей стекают с лестницы театра как керосин в воду.

- Танец бумажки на костре.

- Марсианин в форме тора, т.е. замкнутой змеи. По земле катится, по воде плывет как круг, в небе летит как диск. Сам себя отшвыривает от стенки.

- Одна галактика пожирает другую. Беззвучно, как заслонки костров. Останавливаются легионы света и замыкаются спирали.

Ночные лучи испаривают лезвия ножей.

- Прожекторы ходят молча, прожекторы ходят ночью, как воры в чужой квартире.

- Привет вам, фонари, остановившие ночную Орду.
- Брызгой спрыгну с колес, грязью сойду с водой.
- Упрямая лягушка напрыгала себе в молочном тумане крохотный архипелаг Масла. Нашла изомер, звдержала бесконечное проваливание вниз.
А моя пуля стремится вырваться из. Неосторожность капли.
Не притормаживая, упасть быстрее притяжения к самому рациональному – Богу, чтобы разбить многие кувшины. Упасть мертвым жуком, произведя АВЗЗ в его мещанском сердце.
- Скорпион. Самураи. Вселенная разбегается от меня и стекает в ведро, отскакивая от стенок. Убийство себя – вбить гвоздь в расползающееся, в очень ненадежное место Вселенной. Огонь. Сжаться в огне для прыжка в разные стороны.
- АБСОЛЮТНАЯ ИДЕЯ был большой и спотыкался, увеча Землю.
Он проваливался в мягкие сиденья, и мысли вылетали из головы, как пробки из шампанского.

Он был один – никто его не видел, потому что никого не было.

И рассыпался он в мелкие брызги и хрустящее стекло.

И каждая пылинка зеркала отражала весь мир, каждая искринка стала тем, что есть человек. А он все разрушался, и видно стало, как непомерно он был богат. Теперь он бессилен, но видит все.

Я тоже хочу рассыпаться на мудрую мелочь.

И во мне перекрещиваются зеркала и мягкие провода врываються в темные пульты. Нельзя протиснуться в узкие ходы мозга.

- Бросить в лестничную клетку одежду.
Спустить в мусоропровод часы и документы, отрубить люстру и далее в том же духе привести в порядок все свои дела.
Заткнуть все органы чувств дубовыми пробками.
Найти в одном себе силы и стимулы. Слушать, как в глубине колбы падают снежинки, ощущать число поворотов и изменение углов.

- Поднимаю ладонь, и из нее брызжут зеркала.
Иду, тонкий, сексуальный и внимательный, как оса.

- Выпрямлюсь и стану твердо – земля повернется
вокруг моей оси, скручиваясь под ногами.

- Освобождалось – вылетает сокол, выползает
змея, разбегаются львы и мыши.

- Часы стоят, по небу тихо ходит больная некраси-
вая луна.

- До сих пор огромные полипы тихо переходят Океан.

- Эта ночь энергична. Все курицы мира снесут зав-
тра от нее по маленькой гранате.

Через двадцать – из железных яиц вылупятся
желтенькие птенчики взрывов, маленькие шар-
фюеры миллиметровой смерти.

- Обрубим гигантские сосны – обольем их верши-
ны серой.

Проведем сосною, как спичкой, по шершавой
щеке Земли.

По дорогам, на которых миллионы лет ползают
жуки.

Дороги – морщины ума на этом лице Земли.

- Я – бутылка, выбросившаяся из поезда, живущая
теперь нормальной лесной жизнью, мокрая и с
жуками, как и подобает нам, бутылкам, от рож-
дения.

- Мегаломан, патетический и манерный, я опоздал
стать трогательным. Мания преследования пре-
вратилась в манию реальности, в манию пресле-
довать природу. в манию пожирания мира путем
его познания. Так страх происхождения оплатил
счет жизни. Первичного любопытства не хватило
бы для этого безостановочного падения вперед
и вверх.



О миниатюрах Михаила Деза

(предисловие к поэме «73-76»)

Жанр короткого эссе, афоризма в 20-м веке постепенно завоёвывал признание у русского читателя. «Опавшие листья» Розанова, «Записные книжки» Ильфа, «Ни дня без строчки» Олеси, «Крохотки» Солженицына, «Голос из хора» Синявского, «Соло на ундервуде» Довлатова, «Записные книжки» Венедикта Ерофеева, «Чередования» Владимира Гандельсмана, «Вид из себя» Валерия Черешни – вот наиболее заметные достижения жанра. Миниатюры Михаила Деза могут – и должны – занять законное место в этом ряду.

Его маленький сборник в 48 страниц, выпущенный в Париже супругами Синявскими, мне подарила Лиля Панн. Когда я начал читать его – с чем сравнить? Наверное, так: поднёс ко рту привычную стопку водки, опрокинул – и вдруг задохнулся от обжигающей струи чистого спирта.

«Люблю слова любовью чистой и запретной. Осязаю их как поверхности веществ неловкими пальцами. В молекулах слов мерцают как на запылённой лампе контуры иных предметов – совокупление контуров – точная наука шаманства. Пальцы трогают уголки губ и глаз. Не торгую словами, но не способен в одиночку есть блюдо из собственного мяса.»

«Познание – учёные ползут друг за другом по запаху.»

«Психоанализ – отыскивать в себе самом трепещущее дитя, чтобы раздавить его раз и навсегда.»

«Шоссе ночью. Жемчужные лампочки прокусывают воздух до жёлтой крови. Ночь зализывает укусы влажным языком. Как кошки перебегают дорогу чёрные автомобили. Проходят облака, как усталые воины после тяжёлой победы.»

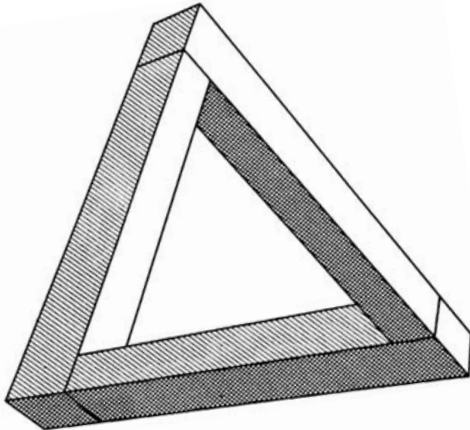
Метафорическая насыщенность этих текстов чем-то напоминает насыщенность воздуха электричеством перед грозой. Кажется, что каждая миниатюра вот-вот может разразиться молнией стиха. Деза и начинал как поэт, но потом, по его собственному вы-

ражению, «что-то в нём стало проситься из воды на сушу... в кисло-сладкое беззаконие “реальной жизни”, приютившее Рембо...». Михаила Деза приютило царство математики, и о его достижениях в этом царстве можно подробно прочесть в его сайте <http://www.liga.ens.fr/~deza/> или http://ru.wikipedia.org/wiki/Деза,_Мишель_Мари Его вебсайт представляет собой и электронный музей отсылок ко всему, что автору довелось полюбить в прожитой жизни: к любимым стихам и песням, полотнам и книгам, друзьям и родителям, фильмам и формулам, племянникам и внукам (числом тринадцать). Собственная жизнь как главное поэтическое произведение! В таком душевном настрое должен в какой-то мере гнездиться и страх (а вдруг провал!?), и дух захватывающие надежды.

Но в любом случае художественная яркость его новых миниатюр доставит радость чуткому читателю, умеющему ценить своеобразие и динамизм образной ткани.

Игорь Ефимов, Пенсильвания, 2013

73 – 76



Стать взрослым – невероятное расширение возможностей поиграть.

•

Робинзон Большого Взрыва своей души.

«Реальность» выносит на берег людей и предметы, черепки причин и ящики следствий.

•

Что есть душа существа?

Точка ли контроля в мозгу,

точка ли хрупкости в сердце?

Седалищный ли нерв, по запрету есть именно его?

Центр ли тяжести, плотности, ярости?

Потеря ли веса после смерти,

частота ли магической волны?

Отражение сверх-существа, эхо первого грома?

А, может, просто мечта её иметь.

•

Прислушаться ...

и за шорохом мыслей и визгом эмоций

услышать далёко-внутренние тамтамы:

вздергивающую каденцию своей Первопричины,
всеопределяющий ритм пружины себя.

•

Не могу убить даже насекомое.

Не по морали, а по ужасу точного момента смерти.
Когда выплеснется жидкость сложно-белого цвета
(усредненный кофе-с-молоком Вселенной?),
освободится душа,
ища куда вселиться/отомстить,
или она начнет неудержимо расширяться
в цунами Большого Взрыва.

•

Убежать, как в детстве – прыжок в назад,
на рельсы с медленного Омск–Москва
из эвакуации –
как колобок рассыпаться.
Может, надеялся, что поймают, вернут,
ввернут в теплое жизневлагалище,
семью, сому, семя, племя.
Но никто даже не укусил.
И вот что-то замедляется – скорость, ускорение
или тоньше, более высокая их производная –
и медленно поворачиваю голову.
Или ветер с Океана уравнил прыжок.

•

Задолго до эмиграции из Москвы
я эмигрировал из большого и малого народов в
Науку-как-страну.
«Отечество нам Царское Село.»

Никогда не пожалел об этом,
и не только потому,
что здесь люди и порядки лучше.
Здесь лучше воздух, климат, почва,
вся физическая география,
и именно в этой земле лежат
все тысячи поколений моих предков.

•

Племена и их кучи, сплетённые в государства,
ведут себя как опасные подростки.
Можно, конечно, в них «только верить»...
А если нет, то ох как боязно прошныривать
между лапами этих неповоротливых
динозавров,
ожидая астероида-спасителя.
Впрочем, были и светлые минутки,
скажем, пещера Бломбос, Афины при Перикле,
Китай при поздней Чжоу, Самарканд при Улугбеке,
Флоренция при Лоренцо Великолепном.
Когда интеллигенцию
сдвигали с 3-его круга власти во 2-ой.
Когда, например, Аристотель, император знания,
учил Александра, императора пространства.
Но мне уже не увидеть такой минутки:
прочная ночь кругом.

Моя надежда-спаситель,
свеча во тьме – виртуальное племя,
заложники и прародители будущего:
читатели Википедии
и трогательные фанаты знания –
её анонимные авторы.

- На стыках литосферных плит,
ревнивых орденов –
московских 60-ников, парижских intellos,
токийских edoko,
математики и еврейства –
свил я свое пугливое гнездо.
Защищаясь каждым от абсолютизма других.
Каждое из всеучений дает силу перетерпеть,
но только в обмен на верность.
Я должен и верен каждой из этих глыб сознания.
Все мои коктейли – из этих элементов.
Но прав, прав только ветер, tohu wa-bohu.

- Хорошо обучить математике –
это вздыбить мозги для небесных прогулок,
корнями вверх,
почти без оглядки на цензуру правдоподобия.
Это и есть Гуляй-Поле, где решение задачи есть

только повод
перепоставить ее,
разве что круче взнуздав условия.

- Души куются уже не семьями,
а ударами определяющих встреч/книг,
кометами сознания мастеров,
чеканящих личный рисунок смысла
как кратеры планеты или шрамы кашалота.
Мои отцы-основатели, имена-заклинания:
Волошин, Эредиа, Уитмен, Рильке,
Сервантес, Свифт, Кафка, Оруэлл,
По, Уэллс, Шекли, Дик, Лем;
Хайям, Руми, Сведенборг, Лурия,
Шодем, Жаботинский, Спиноза;
Паскаль, Ницше, Фрейд, Винникот,
Кеплер, Лейбниц, Вороной, Эрдёш;
Лоренцо Медичи, Леонардо да Винчи,
Диего Деза, Колумб, Альфред Уоллес.
Брызги с этих комет смешались во мне
в неповторимой пропорции.
Только в этом – моя единственность.

- Когда я смог «писать», то оборвал почти сразу,
это помешало бы мне остаться честно – зверем –

сохранить гражданство в ледяном вихре явлений,
до их переработки пишущим.

Убежал от законной Поэзии

с красавицей-Наукой.

Заворожила неисправляемость реальной жизни.

Как у Лучо Фонтана: взрезами холста бритвой.

•

За нашим сознанием кроется бездна
неиспользованной мощи мозга.

Как не мог выпрямиться мой четвероногий предок
и не мог побывать в Токио мой прадед из черты
оседлости,

так и я не смогу разлиться в свое расширение.

Но были ли у них такие же желание/надежда/
уверенность

и боль/невозможность

вырваться на волю свержсилы?

Были, но безотносительно к расширению,
как и сейчас у меня.

Вряд ли способность предчувствовать
усиливается с поколениями.

•

Литература и Философия –

две дивы универсальности,

китовые акулы, так легко вьемлющие в себя все и

на любой шкале,

так почему же я не побежал/вцепился, когда они
подмигнули смазливому москвичонку – бохеру.

И жизнь прошла бы как цоканье шара

в зале серого кафеля,

между плоскостями/стенками,

в уверенности сегментов и

усталом презрении к диспозиции стенок.

Но (страхорожденное?) желание понимать,

в постоянных родовых муках

метаморфоза от до-понимания,

тропическое влечение к корню, имени,

матери каждого факта

оказались сильнее, чем обещание уюта души.

Предпочел брызги стекла

хрустальности его оцепенения.

Да, в реальной жизни – это жить на зоне,

с бандюжками нормы

(правда, я устроился в бараке науки, там – легче).

Но пронзительность фактов, сырой/белый звук
жизни

зовет, держит и тянет.

•

Самые острые факты сейчас в Биологии и Физике,

а не в поведении людей и людоедении.

Эта непримиримость фактов между собой, несмотря на набрасываемые компромиссы/теории, и есть моя Радость.

Быть рядовым ниндзя хаоса, под знаком Шивы. Любовь к изначальности суверенных явлений, переходящая, метастазирующая в энциклопедизм.

- Главные науки – Физика, Биология – несутся вокруг Реальности, как до них Богословие, в разнузданном вихре само-законных парадигм, хотя и методологически чопорны в каждой. Новые парадигмы рождаются по тем же причинам и процессам как и с начала всего, когда магма страстей гоминидов остыла/осела в бесчисленности песчинок-слов. Они рождаются по интуиции авторов, но живут по логико-эмпирическим законам. Научный метод: сосредоточенность на достижимых деталях и интуиция – срочная глобальная нуль-гипотеза – идут от первичных задач: пожирания и осознания опасности.

От этой растяжки между добычей и хищником не уйдет и следующий Гоминид-премиум. А что есть Вселенная – добыча или угроза?

- Легионы воинов познания льются по планете, как реки боевых муравьев, как слоновая саранча. Ощетинившись методами, топча/пожирая все непознанное. Преобразуя явления в плотную массу представлений, а затем в вавилоны библиотек, а затем в тиранозавров Больших Идеологий. За полчищами экспериментаторов (пушечное мясо теоретиков) идут фаланги физиков с длинными копьями-моделями, среди них – холодный Ньютон в погоне: за тайной кубита. А я, несчастный янычар в этой несущейся орде ученых, Разделяю ли эту волю или просто наемник? Да, но сомневаюсь: в Науку можно только верить. Ненависть как кратчайший путь к пониманию, синтезу.

Как вирус-убийца, размышляя
(сменой поколений), «добрееет»
(хотя бы для продления жизни/инфекционности
хозяина)

и, наконец, интегрируется в геном хозяина.

Как лихие пираты –
бактерии-эндопаразиты прокариотов –
превратились в ядра
или митохондрии их клеток.

•

Как японцы любят последние моменты,
предконцы, закаты,
Люблю предэрекции новых идей,
ощущение сфиры Кетер, где
воля съест неотделима от той, громадной:
не быть съеденным.

•

Хищник не любопытен:
он сметает все, что видит, в роль еды.
Акула может проглотить ящик гвоздей,
детеныша, кусок самой себя.
Это мы, антилопы,
должны постоянно вслу-, всма-, внюхиваться
в неугадываемую смесь потенциальных опасно-
сти и радости.

Но перед шансом размножиться,
смягчается хищник и звереет антилопа.

Это ведь не личное дело и время.

Неудержимый феромон
и давление сзади от будущих поколений
разгоняют удивление.

Чисто-белое удивление,
трансверсальная этика любопытства.

По степени непознанности упорядочиваются
кусочки ткани целого.

Стимулы равны и суверенны.

А прыжок тигра – это расширение неживого про-
странства.

Его взгляд понимания пронизывает биомассу
и страхом одухотворяет ее.

•

Контакт с чем-то немислимо громадным,
и не как в комфорте молитвы или телескопа,
а как в танце по-детски перед хищником
на неизбежно близком расстоянии.

•

Движения материков или пролёт нейтрино
не могут влиять на наши жизни.

Только сравнимость по размеру и времени
даёт явлению опасность/полезность для нас.

На площадке человекоподобия,
между безднами Большого и Малого
идёт эта пьеса – реквизит и мы.
Наблюдает ли нас воля из Несравнимости?
Несравнимое можно представить
букетами формул, моделей и слов,
даже «увидеть» в микро- и телескопах.
Вовлекаю его в пьесу, бездну дословия,
подвалы сознания, нашу причинную ткань.
Мой космополитизм явлений
не ради империи понимания,
а непрерывная эмиграция души,
в ужасе разбегания от исходной точки
к моменту разрыва периметра.

- Приближение к границе
с Несравнимостью
звонит полувыходом
из человечества,
как в «зоне смерти»
от 8 км на Эвересте.
Но обаяние предела
есть даже и в слишком
длинном и медленном,
как в падении капель

битума (9 с 1927 года)
в опыте на сверхвязкость.

- Дополнить идолопоклонство Уолта Уитмена
перед людьми
пафосом их отсутствия: в размере
(микро- и макромир),
во времени (до и долго после людей),
во всех измерениях розы ветров Возможного.
- Высунуться из теремочка человекоподобия
в урчащее Без Нас,
выдержать свист Соловья и цвет его...
узнать-простить Вселенной её непознаваемость,
прилепиться к её расширению.
Ступить, трепеща, на Млечную Дорогу,
услышать эти только-снаружи
огненные звукознаки...
Но есть ли надежда перед лицом фактов,
спущенных с цепи их незамечания?
- Поймать себя в ловушку некомпетентности
и бежать.
По главному измерению,
его скрытой вертикальности.

Он был гусеницей в тесноте Клипы Нога
(помпезности),
и вот, с болью слева, отклеиваются
еще влажные крылья – нежная душа Руах.

- Цимцумы алеф и бет
на тропинке упоительного самоограничения:
от ига наслаждения к равенству
с его источником.

- Высшая боль и сладость, это Akarat haRa
(осознание зла),
позволить себе этические решения,
по образу Его,
того, кто отделил свет от тьмы
на рассвете первого дня.

- Бог прост как точка:
он не имеет ни частей, ни атрибутов –
только вихрь Имен.
Мудрецы оцарапали Его непостижимость
толкованиями,
голосованиями миньянов,
магическими постулированиями,
гематрией, темурой и прилипанием к Нему.

Они создали-таки трогательное знание о Нем,
Его привычках, параметрах, тенях.

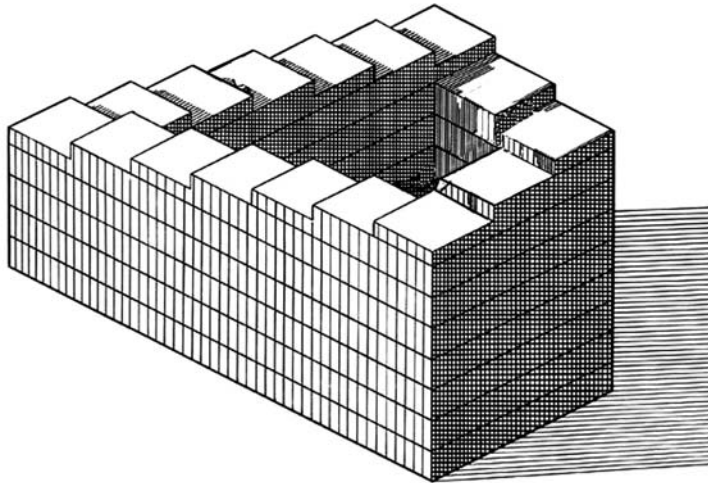
- Пусть я кусочек воли Творца, народа, угла,
прочих ревнивых чудовищ.
Пусть презренно мало-конечно
мое пространство-время.
Пусть унижительно раздет-распят
под всеми прожекторами пониманий,
разоблачен-приколот
всеми квантовыми наблюдателями.
Спрячусь в сверхмалое,
сожмусь до подпланковости
в пыли осколков стенок сосудов,
в менее чем точку и спасу мой Страх.
Зато этот последний периметр будет только мой.
И когда при финальной Нормализации
повезут во всех вагонах мира
(со стариками, детьми, давно умершими
и с задолго неродившимися)
в последний Освенцим – путем ли страданий,
путем ли добровольным,
притаюсь в глубине множественности
и меня ну и не заметят в помпезной глобальности
Суда. И уже неважно, кто я – пылинка ли, искорка

или сама беглянка Шехина.
Сохраню жемчужину первого Страха,
первоотделенности, Akarat haRa.
Ну а если Он хорош,
пусть встретит меня в моем бесконечно малом.
Безоружным и не всесильным,
стариком-создателем, готовым наладить наши
отношения.
Пусть откроет мне тайну Страха,
и это будет справедливо.

•
Заклиная, трепещу...
Но не перед Словом
и прочей утварью делёжки понимания.
А перед некольцованной материей,
перед неповторимостью самих явлений,
пронизывающих, струями горящих анаконд,
скорлупу вторичных сущностей.
Извлечь исходное дрожащее ощущение
из чрева представления.
Трепещу... и получается Крик,
похожий на Слово.



путями времени



Непрерывно ли, конечно ли, реально ли Время (Смолин против Эйнштейна–Таггарта)?

Кучка физиков допускает его неединственность.

Ощутить, в дрожи пальцев,

непомерность Времени:

от трути-искорки до цикла Браммы

через 30 порядков,

от иокто- до иотта-секунды,

через все 48 порядков.

Прошлое сомнительно,

а уж будущее – так и подавно.

Это историки, осквернители могил во Времени,

не боятся осознать непознаваемость прошлого

и придумывают, каждый свое,

возможное прошлое.

А будущее просто не обязано случиться,

как и волновая функция

может не разродиться в факт.

•

Время, космическое и квантовое,

могут быть иными измерениями

чем привычная Амазонка

нашего Времени.

Там позволены и роятся

обнажённые сингулярности,

обратимость, допланковость
и сверхсветовые судороги.

•

Признание душевладельцами
рабов, женщин и «всех людей»
ещё свежо и утрясается.

Последуют психо-особенные,
дети, близнецы-паразиты, эректусы,
братские млекопитающие,
вороно-попугаи и восьмирукие.

ООН увязнет в конфликтах –
осьминого-кашалотском
и свино-человечьем.

Но способность различать
увеличится не намного и
обыватель мало изменится
в федерациях важных видов.

И опять космически малая
горстка организмов
несётся в комете Времени.

•

Встреча с внеземной волей
возможна в оставшиеся нам
10 – 5000 тысячелетий.

Уже засветились визгом
доцифровых ТВ, радио, радаров.

Но не следует ждать
ни врагов, ни друзей,
ни общих интересов, ни понимания.

Мы, наверно, несъедобны
И игрушки наши не нужны.

•

Знания и человечество растут,
но люди деградируют в среднем
и мозг уменьшается.

Естественный отбор прекращён
демократией медицины и размножения.
Индивидуальность отомрёт за ненужностью,
но и центробежность растёт –
и генетически, и в Интернете –
двигаемся к нациям-ульям.

•

Нужность и сложность эмоций
убывает с эволюцией человека.

Недра подсознаний скудеют:
культура выгребла главное.

Неизвестные нам эмоции
остались лишь у животных.

Серый Алекс, Канзи, Коко
всего лишь людоподобны.

Пусть наши Колумбы ищут
пряности и причины жить

в океанах страстей животных.

•

Вижу тебя, следующий гоминид,
Комочек думающей воды,
Откопавший мой частичный череп.
Этот эпизод – музейной костью –
не задержит геологию Времени,
медленный взрыв моего «я» –
разложение, расширение,
растворение, испарение –
по распаду протонов,
к Тепловой Смерти.

•

Умирать...

Глагол несовершенный, не завершённый:
ведь субъективно смерти нет.
Умирать: соскользни моя нацепочка,
колечко-шатунок
с иглы/оси Времени, с Экскалибур-размерности,
воткнутой в спайку
пространственных измерений.
И все-таки умирать. Слететь с великой Иглы
стружкой-изморозью, жужжанием замирающего
волчка.



Оставив след, может,
только в облаках виртуальности,
дойти в свободе и дисциплине мысли
до уровня их слияния,
и просто чистить пёрышки,
как моя Белоснежка-какаду,
что прожила разве первый
из положенных ей 80 лет?

•

За щелчком личной смерти, неизбежны и
смерть народа, человечества, Земли, Солнца.
Земная жизнь не продержится и миллиарда лет.
Ну, ещё миллиард-другой уйдут на микробов
в глубине коры или стратосферы.
Однако, трогательно верится
в ловкое бессмертие человечества,
хотя 5 миллионов лет – нам красная цена.
Люди даже верят в бессмертие
их народов-государств; ведь существуют ещё
старейшие: Иран, Вьетнам, Израиль, Шри-Ланка.
Размножаются беззаботно и раковые клетки
Генриетты Лакс, умершей в 1951.
Не умирают сами и медузы Турритопсис дорнии,
а молодеют снова после каждой женитьбы.
Да и каждый, внуками, публикациями ли

оттягивает смерть памяти о нём.
Но есть и очарование Смертью,
как её средневековые пляски,
Бон Одори, Седьмая печать,
как умиротворение Околосмертья
по рассказам возвращенцев.
А, может, просто стокгольмский синдром,
последняя хитрость мозга?

•

Значение жизни:
не отвлекаться от целей,
уважать свои секунды
и не бояться смерти,
последнего приключения.

•

Пафос романтической старости:
не ждать ликвидаторов Времени
за баррикадой обугленных смыслов –
грудами взглядов, привычек, вещей.
А выпить это как цикуту:
моя девочка-каравелла,
уплывающая в Ночь,
в мою маленькую бесконечность,
под серым знаменем старости,
за золотом невозвращения.

- Нормопаты бегут по узкому косоуглу между обрывами Аутизма и Шизофрении, между избытками локальности и глобальности, между не понимать других и понимать их неверно, между нехваткой и избытком магического, между слепотой к метафорам и синестезией, между слишком и недостаточно плотным миром. Не стоит селиться надолго в садах безумия, но обе крайности нужны при добыче знания. Парить в психозе невесомости над Океаном, заметить малое-дрожащее-незавершённое, воткнуться метеором в плотную глубину, до аутистического экстаза Встречи и разрядиться пружиной назад, но с тушкой свежего знания.

- Знание причиняет боль: ящерка нового видения юркнула по дюнам мозга, хрустнет старая, взвизгнет новая нейронная связь. Знание – горькое похмелье, вызов и тревога – только утяжеляет ношу памяти, ведь невозможно забывать сознательно.

- Вера может зачаровать тело: стигматы пяти Святых Ран (Святого Запаха, без инфекции), смерть от проклятия шаманом, плацебо, ноцебо, рэйки. Но так же действуют и знания: обучение тормозит старение. Знания и вера различаются только по стилю их добычи. Мозг использует оба эликсира.

- Будда учил свободе как альтернативе знанию. Он отказался ответить на 14 «бесполезных» вопросов: вечна ли, конечна ли вселенная, едина ли душа с телом и т.п. Да, знания – это расширять себя, зависеть от мира, наркотик, неутолимая жажда, прыгать из одной догмы/клетки в другую, прочнее и больше.

- Подходящей дозировкой
любое действие превратимо в наркотик.
Подходящим действием
любой объект превратим в идола.
Так мы лепим себе скафандр выживания,
проход через невыносимость реальности.
Обшивка, как стенки термитника,
из засохших выделений сознания.
Научный метод: начать с наркотика ясности,
сотворив идола из объективности опыта,
а затем страдать при сдвиге парадигм –
потере герметичности, хрусте скорлупы,
гибели уверенностей, расширении личности.
Но это быть отцом, а не жертвой страдания.

- Опьянённые ясностью,
прожигаем дыры в своём небосводе
зеркальцем самосознания.
Но похмельем являются страх,
предательство памяти, потеря пластичности.

- Яркость, ширина и пластичность сознания
мельчают, иссыхают с возрастом.
«Взрослые» тупеют душой,

скучно-двоичны: дичь или хищник.
Я успел отшатнуться от пропасти зрелости,
отлетел птицей-подростком:
неуверенность и любопытство.

- В мои 20-25 лет,
когда полагалось взрослеть
(т.е. отрезать язык подсознанию),
мы договорились:
Сознание сдалось, стало
шестёркой подсознания,
его двойником-подделкой
во внешнем мире.
Подсознание остепенилось (?)
хранит мне здоровье,
мир и сладость
«всё позволено» на свободе.

- Наделение явлений смыслами
создало пространство мемов –
значений, идей, символов
и цепную реакцию обобщения.
Как и живое, мемы размножаются,
ноосфера непрерывно удваивается.
Смысл изменяет живое,

как и оно меняет планету.

Смыслы будущего покинут нас
в процессе роста абстракции.

•

Гибриды ощущений и понятий –
метафоры, юмор, парадоксы –
учат сознание летать.

Смешивание противоречий
уведёт его всё дальше:

от динозавра к птице,
от человека к его Наследнику,
пределу расширений логики,
владельцу всех парадоксов.

•

Не культура породила иронию
и юмор, абсурд, метафоры.
Наши восприятия не точны,
а проходят цензуру Целого:
сознание выбирает «полезное»
из реальности и подсознания.
Деконструкция уже в ощущениях,
в колосках-ошибках восприятия.
Ошибки можно использовать,
пахать мозг парадоксами
как размножение яиц курами.

•

Организм наблюдает только полезное
для остатка времени жить.
Насекомые не нуждаются в боли:
поедаемый кузнечик продолжает есть.
Боль у кальмара только глобальна:
её точечность бесполезна.
А боль человека – свеча во тьме –
можно, нужно зализывать.

•

Созерцание грозного –
огня, водопада, пропасти –
было уже Поэзией,
до рождения смыслов и Бога.
Наука не исключает священное,
а нежно облагораживает его:
из суеверия в романтику точности,
обновляя поколения значений,
поднимая ставки в игре выживания.

•

Когда первый поэт, в глубине веков,
прохрипел первую фразу,
это было «убирайся, чужак»,
подкреплённое жестом и позой.
Первыми поэмами были ругательства –
носители первых сюжета и стиля.

- Ненависть к чужаку,
мэтэку, гайдзиню, лаоваю
обобщает страх патогенов.
Но только умножая на идеал –
чистоты и первородства –
выводят крепчайшие сорта:
на еврея, цыгана, рохинджа.
«Спасай Россию, Словакию, Мьянму!»
Поёт душа погромщика.

- Сардины, увидев хищника,
спаиваются так, что стая хрустит
когда он откусывает ломоть.
Не идеалы спаивают группы,
а общий страх и ненависть.
Идеалы вторичны: по отрицанию
деталей понимания Ужаса –
единого, неделимого, доназываемого.
В ненависти мы все монотеисты.
Не идеалами различаются идеологии,
а тем что нужно ненавидеть.

- Любовь – безумие вдвоём:
нарушить границу и меру себя,
проглотить Другого

или утопиться в нём.
Страшны и большие группы,
где равенство невозможно,
кроме худших моментов
массового рабства и злобы.
Люблю малые группы, 3 – 7,
звонкие кучки твёрдых шаров,
соавторы-сообщники-охотники,
как до Каина и земледелия.

- Да, двуногость помогла:
бегать, видеть, носить корм,
расширился череп.
Ну а теперь-то что –
артрозы, родовые муки...
Итак, назад, в 4-ножие.
как в сексе или в невесомости.
Чтобы дольше жить,
вынашивая дольше,
моногамствуя меньше.

- Смешно и страшно, когда религия селит
чёрно-белость богоприсутствия
в приватность туалета.
Входить с левой, с шапкой, с молитвой,

выходить с правой, благодаря Его
за мудрый дар выделения.

Жёсткая точность даже граничных понятий:
мустакзар: слюна чиста, но отвратительна;
мукайяд: вода соков чиста, но не очищает;
узр: неомовение, когда простительно.

•

Отрицание Гвуры:

что Бог бьет только левой рукой.

Като-французы запрещают выражение ненависти.

Испанцев и русских считают инфантильными,
не способными скрывать отрицательные эмоции.

Злоба, не выраженная,

не растворенная в Возможном,

концентрируется в яд «законного возмущения».

Главная доблесть: реконструкция лицемерием.

Конфликтов меньше, но они неизлечимей.

И вырабатывается горькая амбра,

угрюмость души,

как *Les feuilles mortes se ramassent a la pelle ...*

(опавшие листья сгребают лопатой...)

Жака Превера.

Все-таки мир Яфета

хуже восточного хамства Хама.

Он уж совсем не считается со списком
культурных универсалий. Не Запад ли Амалек?

•

Осторожно волнуясь, латают

пробоины в своих взглядах

эликсиром прирученных перемен.

А встретив великана,

сочтут его ветряной мельницей.

Как Санчо в маске Фигаро,

французы бегут по жизни –

не расплескать душу –

как в гонках официантов

с подносами по Парижу.

•

Прогресс тормозит деторождение.

Религия и секс влияют меньше.

Дети – уже не подмастерья,

ни продолжатели, ни пенсии по старости.

Им легче строить себя не вместе с,

а вместо родителей.

Государства-кукушки легко отвлекают их,

выжав родительский сок из нас

– нужны солдаты, налоги.

Пусть государства платят сами

за распечатку своих граждан,

создав специальных маток

– как у пчёл, муравьёв, термитов –

заводы детопроизводства.

•

При одноплодии, жизнь длится

от 5 минут (однодневка Долания)

до 130 лет (бамбук Мадаке),

но обрывается с испусканием гаметы.

Да и при многоплодии, жизнь

угасает с концом размножения.

Да и у трёх исключений

– косатки, гринды и люди –

длину пост-детородного периода

объясняют “эффектом бабушки”.

Но как раз сейчас, люди начали

отделять жизнь от деторождения:

воспроизводимость (2.33 на женщину)

прекратилась во всех “развитых” странах.

Ни людям, ни человечеству

не нужно много детей;

это нациям нужны граждане.

•

Венеры из Берехат-Рама и Тан-Тана:

230—500 тысяч лет назад

проточеловек осознал женщину в камне,

добавил насечки, охру и веру –

первое искусство, абстракция, теорема.

Палеотические Венеры

раскрывают геометрию желания:

грудь и бёдра вписаны в круг,

а всё изображение – в ромб.

Суть желания не могла измениться,

но бесчисленные подступы к нему,

личинки почти-желания

созданы художниками с той поры.

•

Женщины как суровые офицеры,

присяжные сексуального отбора,

что судят от имени интересов племени.

Да что, от имени всей органической жизни,

смывая взглядом шкурки того

что не относится к Делу:

отцовскому вынашиванию семьи.

•

Всё измеряемо числами или шкалами.

Как единицы риска – микро-жизнь

(+ – полчаса жизни, 57 лет /1000000),
микро-смерть (1 /1000000 вероятность смерти).
Как шкалы боли и счастья, формы фекалий и
монотеизма, любви к Родине и мальчикам.
Ах, измерить и произнести,
неужели это уже не опасно?
Назвать, как ударом хлыста,
измерить и приручить поимки в рое явлений.
Математика идёт от культуры,
ноизмеряемость мира –
малые числа и расстояния –
заложены в биологии тела,
в первичных перечислениях,
оценках опасности или
достижимости нужного.

-

Предрассудки в науке пока неизбежны.
Понятия, теоремы, конструкции идут
от наблюдений в букетах пальцев.
Типична ли опушка {1,...,20} Чисел?
В глубинах Леса найдём прототипы
неведомых сущностей логики,
на полянах Больших Чисел.

-

Математические структуры
можно жить как мировоззрение:

связью чувств и сил с аксиомами.
Ердёш жил в Больших Числах, где
«всё позволено» по теореме Рамсея.
Вольнодумцы – в слабых структурах,
где много люфта и быстрых удач.
Крутые – в сложных аксиоматиках,
жёстких объёмах глубинного холода.
Я же – в метрическом пространстве.
Верую в аксиому треугольника,
в суверенность точек-нейронов
и их расстояний-аксонов.

-

За законами Живого встают исключения,
чудеса структуры и поведения,
артефакты и контрапункты
к законам о Человеке.
Медузы без старения;
Личинки, живущие выпустив бабочку;
Жук Эпомис, ловящий лягушек;
Бамбук, цветущий раз в 130 лет;
7 полов инфузории Тетрахимена;
Проституция (за камешки) у пингинок;
Любовь (платоническая) у бабуинов;
Турниры акулят в утробе матери;
Самцы живущие внутри самки

или с оргазмом при откусе их головы;
Жемчужины паразитизма, симбиоза, гибриди-
зации...

За каждым таким фактом стоит причина/этика.

Можно ли построить мораль всего Живого,

Талмуд для всех,

включая растения и бактерии?

•

Даже если люди и, вообще, разум

суть патогены биосферы,

болезнь на десяток миллионов лет.

Даже если секс и многоклеточность

провалятся как стратегии

в войнах между микробами.

Даже если все клетки и атомы

рухнут в менее ложный вакуум.

Даже если в поисках надежды,

в глубине деконструкции

окажется только Его равнодушие.

Стоит верить в своё существование

и единственность своей точки,

без причин и следствий.

•

Он создал мир и ушёл

и вряд ли вернётся вовремя,

да и вряд ли подсматривает.

Если нечего делать,

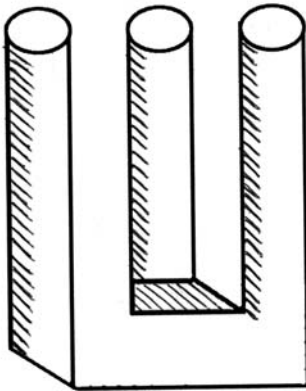
то любите друг друга

или соревнуйтесь

или размножайтесь

или просто шалите.

brevitas



Эти бревитас – усилия краткости –
идеи-киборги, ошкуренные тропами,
притчи, разборки абстракций
или букеты пылающих фактов.
Ни поэзия, ни риторика –
это вопли – страха и удивления,
ужаса и восхищения – в пещере
сокровищ, чудовищ и тайн,
которой оказалась Вселенная.

•

Мои тропы – несложные:
перечисления, гибриды смыслов,
стаи литот, скользящая камера,
сдвиги масштаба/проекции/фокуса,
Иностранный Легион терминов,
отливы в ритм множественности.
А фразы, структура – обычные.

•

От проповедников к Джону Донну,
воины Слова знали мощь
нарастающих перечислений:
амплификация и экзергазия.
Перечисления как заклинания,
неудержимый прилив смысла.
Ритмический марш значений

градуирует время текста,
организует пространство:
даёт ему направление.

- Толстой не любил метафор
и прятал их в содержание.
Но прав Аристотель:
в них сущность мышления.
Метафоры отклеивают от
ненужной и рыхлой точности
в «объективной реальности».
Это прыжки, которыми разум
учится летать – далеко и быстро –
от понятия к понятию,
в поисках нужного.
Найдя его, крылья метафоры
оппадают в алмаз точности
и рождается парадигма.
Подлинный поиск ума
идёт не по корочке речи
над подсознанием.
Обычная речь ложна
удалением от этой магмы.
Метафоры углубляют речь,
касаясь её источника.

В будущем речь превратится
в ровный поток метафор.

- Пётр отменил много букв,
но потом вернул-таки
ферт «ф», «з» и «и».
Непроста и судьба «ё»:
её только 24-12-1942
формально присоединили.
А вот у «ерь», «еръ», «еры».
не было открытых врагов.
- Шеренги знаков, слова-многоножки
бегут по бумаге, расплескивая смысл:
Ааааба – род жуков,
Иййои – карельская река,
Иййанна – тамильская буква,
Йаййа – буква панджаби,
СССС – сербский крест.
Люблю надежду/угрозу/вскипание
почти независимых элементов,
рычащих в нежёсткой связке.
- В зоопатке понятий –
оказавшихся вместе,

но не в структуре –
смотрю на смешание смыслов,
как на огонь и зачатие.
Слова готовые к метаморфозу,
переливание знаков в смыслы,
обнажение скрытой причинности.

- В пантеоне Наук и Ремёсел
бездонность и упоение есть
и в малых потоках знания:
люблю Алхимию и Геммологию.
О, камни, содержащие свет!
Звёзды в кабошонах
рубина, сапфира, изумруда.
Бегущие блики шёлка:
кошачий глаз хризоберилла,
глаза быка, тигра и сокола.
Смена цвета александрита,
радужность перламутра,
переливчатость опала,
мерцание авантюрина.

- Пишу о космическом, так как
вижу в нём те же нужнейшие
убежище, тепло и надежду,
такой же источник пафоса.

Уж не хуже чем национализм,
семейные интересы или ТВ.

- Люди – слишком земные, большие,
сложные и малочисленные – не успеют,
наверно, покинуть Землю во-время.
А микробы – полунагие в камешках –
покрывают космические расстояния.
Выживают немногие, но достаточно
для расселения вокруг Солнца.
Есть и шанс заразиться жизнью
при редких межзвёздных встречах.
Однако, в масштабе Космоса,
жизнь – наше местное явление,
ну, на несколько мегапарсеков.

- Типичная жизнь на Земле –
микробы в интимности
паразитизма/мутуализма.
Многоклеточные на поверхности,
их секс и хищничество –
исправимые исключения
Их влияние ограничено,
как резкие смены климата
или малые действия Солнца.

- За «скучным миллиардом»
микробов и водорослей,
750000 лет назад, задолго
до Авалона и Кэмбрия, –
магма Земли охладела,
материки зашевелились,
кислород просочился всюду.
Жизнь всколыхнулась
радугой сложности, но
без внутренних органов.
Съедобность ближнего
ещё не известна и ниши
ещё не переполнены.
А мы – уже эукариоты –
были щепоткой шансов
в спектре возможного.
И это вот оказалось
серединой жизни Земли,
её столицей во Времени.

- Отношения организмов
могут резко меняться.
Были же первые пары:
хищник и жертва,

клетка и будущее ядро.
Первые встречи: симбиоз,
секс, многоклеточность.
И т.д., до интернета
и социальных сетей.
Что в будущем?
Жизнь может слиться
в один организм или
рассыпаться в клетки.
Уйти под землю
или в атмосферу.
Перейти в оттенки
газа, цвета и звука.
Или просто вернуться
в небытие той же дорогой.

- Прямо ли (хищники и паразиты),
косвенно ли (бактерии на органике) –
жизнь только переливается,
между существами-сосудами,
обновляемыми смерто-рождением.
Большие вымирания только
увеличивают число микробов.
Антибиотики только меняют
бактерий на более устойчивых.

Но как/почему меняется
общий объём Живого?

- Общество заменило природу
как двигатель эволюции:
человечество приручает себя.
Демократия и диктатура
отличаются только стилем,
переходят друг в друга
как периодики моды, но
социализация ускоряется
Личное уже обусловлено «общим»,
круг «близких людей» сжимается,
племенное ещё добивается.
Зато империи-псевдоплазмодии –
сверх-многоклеточные слизевики –
уже расплозуются по планете.

- Мораль идёт не от Бога,
а от необходимости правил
делить добычу, самок, опасности.
Она расширяется с опытом
осторожного сдвига границ.
Мораль неизбежна также
у всех социальных видов. Но

правила общие всем животным
могут быть и от Бога.

- Кабир, Окуджава воспели
единство Любви и Разлуки.
За этим стоит интимность
Секса и Смерти в природе.
Осьминог умирает, послав гамету.
Львицы приходят в эструс
с убийцами их детей.
Пауки выбирают самок,
только что съевших самца.

- Паразитизм – это танец,
ведущий к симбиозу.
Трогательны первые шаги:
кукушонок, увидев хищника,
спасает себя и птенцов хозяина
невыносимой волной запаха.

- Миллионы лет мы были
крысами динозавров:
прятались, вылезая ночью
за тем, что они не съели.

- Захватывая Землю, мы
волнами вышли из Африки.
А крысы вышли из Азии:
чёрные – в 14 веке, с Чумой,
через Шёлковый Путь и Крым;
коричневые – в 1727 через Волгу.
Сейчас они нам соперники.
Но, может быть, это ближайшие
(по качествам, духу и воле)
союзники в глубинах будущего.

- После Чёрной Смерти (14 век)
человечество растёт непрерывно
(с 370 до 7300 миллионов).
Быстрее чем думал Мальтус.
Но принято не беспокоиться.
В сухом эквиваленте, нас
100 миллионов тон углерода.
Наговорили 42 зеттабайт
(10 в 21-ой степени) речи.
Чувствуете ли Вы близость
с этим Левиафаном?

- За 3D-принтерами пойдут
роботы-подхалимы,

приборы сверх-восприятия
ультра/инфра цвета и звука,
переводчик с дельфиньего.
Заменят «других» на удобных,
любимых на аватары.
Гаджеты всё больше
вонзятся в потребителя.
Но, неспособные ограничивать,
упрёмся в эволюционные тупики
как с порнографией и наркотиками.

- Да не безродный я космополит.
Между двумя сверхновыми
(матерью Солнца и ИК Пегаса),
живут наши в Шпоре Ориона
(рукавчик, где-то 8000 парсеков
от центра Галактики).
Сами-то мы – эукариоты,
вся родня – двусторонние.
Ну, если точно, хордовые,
из этих, вторичнополостных.
Знаем точно, кто и откуда мы.
Постоим за мать-Галактику.
Тут – наши исконные земли,
могилы солдат и предков.

- Все универсалии рождаются как
особенности национальной культуры:
чужак отрицается в форме любви
к «нашим» и уникальности их понимания.
Вагнер музыку, Бибербах геометрию
очищали от «жидо-французов»,
выдавливали их из человечества.
Но нац-универсалии, отслужившей
в спасении испуганной нации,
следует слить национальный яд,
сменить мотор ненависти на интерес,
перейти на службу всему человечеству.
Ну не так уж загадочна русская душа
(быстро ездить, только верить, выпить?)
и не только японцам доступно
печальное очарование вещей.

- Началодуши – между
Книгой Бога и 40-м днём –
и её конец – между
смертью и Судом –
уточнятся ещё не скоро.
Неясны и границы сознания
с младенчеством, комой, безумием,

гипнозом, сном, опьянением.
Но всё же громадные груды
готовых к норме людей
выбрасывает Время на берег –
много свежей и мокрой рыбы –
La Crie – время первой продажи.
Семьи, государства, идеологии
разберут, поделят, разделают
поколение за поколением.
Обрежут неясности границ
– оттенки ответственности –
и расфасуют умело
тушки наших душ.

- Скелет беззубого неандертальца
означает что кто-то жевал для него.
И что мы теряем способы любить
с развитием цивилизации.

- Эффект Акелы –
сохранять за знания
(не только ради внуков)
бесплодных «сенаторов» –
нашли у людей, гамадрилов,
слонов и китовых:

старые слоники знают
далёкие впадины с водой.

А вот нас, учёных,
выгоняют на пенсию
уже с 63-65 лет.

•

Это только сейчас апофения –
лже-позитив, иллюзия структуры –
кажется ошибкой (первого рода).

А предки не отличали случайное
от неважного и непонятого.

Всё важное имело причину
(зачастую «неверную»),
смысл, структуру и знак.

Даже вера в серии
была оправдана: ресурсы
и опасности были скучены.

•

Не верю в чисто случайное:
даже играя в кости
или в прятки цимцума,
Бог оставляет следы.

Зёрна смысла неизбежны
в больших глыбах данных
и длинных рядах событий.

Как в теореме Рамсея и
Пуанкаре-возвращении.

•

Цена ложной тревоги-идеи так ничтожна
перед ужасом ошибки второго рода:
не заметить саблезубого в шорохе.

Что мы заполнили Всё
джунглями ложно-причинных связей,
поселили объяснение за каждым фактом,
заткнув дыры ватной верой.

Отсюда и нужда структурировать
в законы, империи и симфонии.
А осознать безотносительность,
аморфность и отчуждение мира –
это очнуться в наготе,
задохнуться в истине.

•

С арены нашего видения
по лестнице ДИЗМ (данные,
информация, знание, мудрость) –
понятиями ли, образами ли –
колонируем непознанное,
расширяем периметер.
А осознав непонятое,
приручаем его градацией,

называнием, нуль-гипотезой
как предел пустоты или плотности.
Но только религия создаёт
честно-детское Знание о Тайне.
Тайный смысл Торы, той первой –
чёрным огнём по огню белому –
скрыт изменением нескольких букв
или реорганизацией букв в слова.
Непонятные заповеди хукиим
равносвященны с другими.
Из семи тайных смыслов Корана
1, 2, 3-ий – учёным, святым, пророкам.
С 4 по 7-ой – знает только Бог
или откроет себе сам однажды.

•

Прорубили дорогу к Богу
разрубив мир на ступени:
увидеть в глубине аллеи
явление за ощущением,
причинный ряд за явлением,
волю/сущность за причиной,
собеседника за волей.

•

Раскрашенный на явления и
прошнурованный причинами,

мир кажется бессмысленным.
Но, свободные от наблюдателей,
явления расползаются друг в друга,
причины растворяются в корреляции
и дальше, до непостижимых струн.
А каким же мир видит Бог?
Собой в мерцающем зеркале?

•

Чёрным огнём точности
математика пишет по
белому льду явленного,
испаря ненужное и,
дождём цепких формул,
клея коллекцию фактов.
В оцепенении абстрактного
взгляд идёт как скальпель,
понимая, называя, меняя.
Но возврат души неизбежен
в ледяной вихрь явлений,
наш единственный дом.

•

Меняются элементы знания,
но их объём постоянен –
это вместимость мозга.
Главное ещё обозримо,

даже с краткой историей.
Энциклопедии – армии главного,
от 20 тысяч статей у Плиния
до 4,6 миллионов Википедии –
встают соборами универсальности.
Не столько полиматы нужны,
как филоматы – любовники
Знания в смысле Аристотеля,
т.е. практики, поэзии и теории.

•

От честной «улыбки Дюшена»
к «архаическим» улыбкам скульптур
и маскам-улыбкам загадки/лжи –
можно управлять танцем
двух лицевых мускулов.
Но профилем лгать невозможно:
душа, не прикрытая сбоку,
нага и беззащитна.

•

Узнавание себя можно проверить,
шатая свои границы.
Эффектом «зловещей долины» –
ужас человекоподобия –
как зомби, протез и труп.
Или иллюзией «странного лица»-

увидеть, один в полутьме,
в зеркале через минуту
иного себя и Других,
брататься со своими демонами.

•
«Мысль изречённая есть ложь»,
знал Тютчев. И подробно объяснил.
Так и сейчас, когда мне 75,
потребность объяснить
превзошла боязнь солгать.
Молчание выветривается, «быть»
превращается в «сказать»:
странное равновесие.
И боль, что есть
кому/что сказать.
А русский язык – это
просто как возраст –
уже не могу избежать.

•

Интервью с самим собой
отмывают белее всего.
Читатели оказались нужны:
отдавать им пойманные образы,
чтобы утром опять выходить
на охоту по мокрой траве.

- Лучшее чувство: первым войти
в необитаемый остров/образ,
и не колонизуя/растворяя его,
отпив только первый глоток,
передать его другим людям.

интервью русской эмигрантской прессе

ОТДЕЛИТЬСЯ ОТ ЗУБЦОВ ЯЩЕРА

С Михаилом Деза беседует Александр Гольдштейн
(в газете «Знак времени» 24, 29-11-1991,
и «Зеркало» 7-8, 1997)

Михаил Деза (1939 г., Москва) – известный математик, профессор Парижского университета. Покинув Советский Союз четверть века назад, он стал гражданином Франции и объездил чуть ли не весь мир. Последние годы жил в Японии. В Израиль приехал по приглашению Тель-Авивского университета.

– Чем были вызваны ваши бесконечные странствия, в том числе кругосветные?

– **В**ероятно, тем, что я искал близкий мне образ жизни. Вырвавшись из замкнутого общества, я принялся истерически путешествовать. Это естественно для московского мальчика, который никогда нигде не был и вот вырвался на простор. Я странствовал по принципу чем дальше, тем лучше. Хотя, на мой взгляд, настоящее путешествие – это когда ты меняешь не столько страны, сколько социальные слои, когда ты решительно обновляешь свой социальный статус. Отказаться от положения преуспевающего бизнесмена и ввергнуть себя во что-то крайне неустойчивое, например, стать художником с гадательными шансами на успех – в этом есть подлинный риск и опасность, соприродные Путешествию. Но так далеко я никогда не заходил. Все-таки трудно было лишиться зарплаты и твердого места в обществе. Хотя совсем уж не рисковать, застыть в позиции буржуа – безумно скучно. Вообще, чем больше едешь по миру, тем яснее становится, что

настоящей реальностью являются не страны, а города, с которыми у тебя возникают какие-то свои, нередко причудливые отношения. Порой ты чуть ли не сознательно влюбляешь себя в тот или иной город, как иногда мужчина влюбляет себя в женщину и потом благополучно живет с нею долгие годы. У меня состоялась настоящая love story с Парижем, и я полюбил Токио. А вот с Нью-Йорком романа не получилось, хотя мне казалось одно время, что я его люблю. Но более того: я убедился, что не люблю уже Запад как таковой, предпочитая ему Восток, в частности и главным образом – Японию. Впрочем, Запад дал мне то, к чему я больше всего стремился, – свободное время и возможность путешествий. Я ведь немного плейбой по натуре. Ну, не то чтобы это были бесконечные танцы и женщины, но стремление к свободе, которая может выражаться и в том, что ты спокойно и в свое удовольствие созерцаешь жизнь, сидя в кафе, – во мне сильно.

– Что означает конкретно эта нелюбовь к Западу и симпатия к Востоку?

– Вы знаете, при всей неизбежной упрощенности этнопсихологических характеристик, от них невозможно отказаться. Тем более что жизнь «на поверхности», такое плавное скольжение по поверхности существования, весьма к этим характеристикам располагает. Я стал довольно зорек в распознавании каких-то очень существенных национальных привычек, стереотипов, особенностей поведения. Лучше в этом – именно на уровне житейской эмпирики – разбирается разве что продавец электроники в Нью-Йорке И вот мне, русскому, московскому интеллигенту и парижанину, пришлось по вкусу японская манера преподносить себя, даже японские ужимки. К тому же в Токио так чисто, эту чистоту, напрочь отсутствующую на Западе, вы можете бочками черпать в Токио. Япония и ее столица – это теплая вода, в которой очень уютно, и не надо бороться за существование, что тебе постоянно приходится делать в Америке. Так что в сегодняшнем сражении между Японией и Америкой я на японской стороне. Я регрессирую в Токио, а возможно, просто возвращаюсь к своей сущности. В Токио я осознал, что слаб и что я хочу

быть таковым, быть самим собой. Во избежание недоразумений подчеркну, что речь идет о сугубо моей Японии, которую я изначально использовал в качестве зеркала для познания самого себя: кажется, эксперимент удался.

И еще. Я еврей, и сильно обижен на Запад за его антисемитизм. Наверное, у каждого бывает своя война, у меня таковой стала Ливанская. Я был в то время уже настоящим парижанином и даже полагал, что преуспел в обмене культуры, в которой вырос и сформировался, на культуру чужую, благоприобретенную, как меняют рубли на тугрики. У меня было много друзей среди парижской интеллигенции – я был ей признателен за усвоенную с ее помощью свободную манеру держать себя и ничего не стесняться в разговоре. Я стал французом. Но разразилась Ливанская война, и я с ужасом увидел глубокий, искренний и, что самое страшное, бескорыстный антисемитизм этих людей. Евреи для них – это что-то суетящееся и нечистое. Знаете, когда у Луи Селина спросили его мнение о Сартре, он ответил с неподражаемой своей брезгливой ужимкой-ухмылкой, что, дескать, тот суетится, как муха под бокалом

(по-французски это звучит сильнее и лучше). Я убедился, что западный антисемитизм, не смывающийся культурой, сильнее русского, варварского, что он имеет более глубокие и мощные корни. Хотите знать, почему Буш не любил евреев? Да потому, что он являлся искренним противником зла, вообще всего плохого. А евреи для него, несомненно, были связаны со сферой недоброго и во всяком случае глубоко сомнительного. Истоки этой неприязни – в христианстве, в христианстве как таковом, имеющем очевидную антисемитскую подкладку. А в это время наши еврейские друзья в России все чаще становятся христианами.

Столкнувшись с антисемитизмом западной, французской интеллигенции, я гораздо полнее ощутил себя евреем и как бы стал им заново, можно сказать даже, что назначил себя им – евреем ведь нередко становятся. И с тех пор уже не нуждался в подтверждении своего еврейства со стороны.

– В самом начале нашего разговора, еще до того, как я успел включить диктофон, вы говорили об особом рода честности японцев, их внутрен-

нем, органическом неприятии лжи. Мне, знающему мир по случайно выбранным туристическим маршрутам и никогда не бывавшем в Токио, это суждение кажется не то что бы сомнительным (по фактам опровергнуть его я не в силах), но излишне форсированным и литературным. Прокомментируйте его, пожалуйста.

– Японцы, повторю, не выносят лжи, и это дает о себе знать в самых неожиданных ситуациях. Однажды их бывший премьер-министр Накасонэ заявил во всеуслышание, что Америка страна замечательная, вот только негры ее портят. В Штатах поднялся по этому поводу страшный шум, все в ужасе закричали, и Накасонэ пришлось принести официальные извинения. Японская пресса отреагировала своеобразно: ну зачем же было говорить столь открыто, нашел бы какую-нибудь подходящую форму выражения справедливой мысли. Поймите, они ничуть не более расисты, чем люди на Западе. Они просто меньше врут, то есть их расизм честнее.

И так во многом другом. Например, по телевидению, ближе к полудню, показывают, как

надо готовить салат из краба. Оказывается, краба следует резать живого – он потом будет вкуснее. Все это и демонстрируется на экране. По европейским меркам, дело абсолютно невозможное, аморальное, несчастного краба жаль, но есть тут какая-то первозданная, незамутненная честность. Говоря о том, что японцы меньше врут, меньше ловчат и обманывают, я имею в виду эмоциональную честность, честность перед самим собой, когда именно себе стараются не врать. Так-то, конечно же, и крадут, и совершают другие неблагоприятные поступки. Но ведь это уже вопрос выживания, практического приспособления к действительности, тогда как эмоциональная честность – самое главное. Обмануть государство, дерущее с тебя подоходный налог, вообще не считается чем-то предосудительным, скорее наоборот – здоровая реакция здравомыслящего человека. У Японии в целом есть детское желание быть сильной, противостоять небытию. Вот и вся идеология. Согласитесь – прямая и откровенная.

Западная иудео-христианская мораль к японцам неприложима, они по-другому живут

и мыслят. Понятие страны у них нечеткое, как у арабов. Поэтому так важен император, происходящий непосредственно от бога и скрепляющий, центрирующий государство. Мне нравится иметь дело с японцами. Даже их женщины, о которых ходят разные слухи, честнее француженок. На уровне индивидуума, по-моему, японцы гораздо лучше европейцев. Правда, когда они собираются в группы, то выглядят страшенько. Тогда они наивно пытаются разрушить западный мир, но это уже особый разговор.

– Может быть, мы его продолжим? Япония все время вестернизируется, еще со времен революции Мэйдзи и особенно бурно – в последние десятилетия. Как уживается эта тенденция со столь непростым и даже враждебным отношением к Западу?

– Революция Мэйдзи не закончилась. Сейчас процентов 15 японского населения (может быть, 10 или 20 – это не существенно) находится в состоянии активной мутации. Они меняют пищу, стиль одежды, даже тела,

в язык проникает множество английских слов. Мне кажется, что глубинной основой столь больших перемен является на самом деле стойкая неприязнь японцев к западной идеологии и даже к идеологии в целом. В Японии исходят из положения, что мир нечеток, неточен, лишен строгих структурных очертаний, и не следует его организовывать. Все неуловимо, а потому можно брать чужое, то-есть чужую материальную культуру, сохраняя в первозданной чистоте основы национального духа и характера, некую собственную, довольно туманную, национальную идеологическую субстанцию. В этом смысле Япония, мыслящая по-женски, резко отлична от Китая, ярко выраженного носителя мужской идеологии. Китайцы уверены, что невозможно заимствовать вещи, вообще материальную, потребительскую культуру, не сменив при этом идеологии, не исказив ее до неузнаваемости. Китай – это гигантский, замкнутый в себе, абсолютно самостоятельный, «мужской» мир. Он напоминает в этом отношении Запад, всепроникающего влияния которого ему в принципе

удалось избежать. Японии, как и России, свойственна иллюзия автохтонного развития, но это только иллюзия. Они обречены жить отраженным светом чужих идей, хотя, надо отдать должное, заимствуют их все-таки по-своему – японцы более успешно. Это проявляется на самых разных уровнях. Так, в области экономики японцам удалось очень удачно совместить капитализм в сфере потребления с феодально окрашенным социализмом в области производства; эта модель оказалась, как известно, очень эффективной, сейчас она используется в Южной Корее, Сингапуре, в Таиланде, Тайване. Да и в быту западное и восточное начала перемешаны как-то очень причудливо. Допустим, вас угрозило спросить дорогу у токийского панка, который выглядит еще более устрашающе и круто, чем его европейский собрат. Но где-нибудь в Лондоне такой панк может в ответ дать по морде, а токийский вам подробно объяснит, куда надо идти, да при этом еще сделает это чрезвычайно вежливо и даже церемонно, с такими особыми японскими ужимками доброжелательного отношения.

А в целом я согласен с покойным аятоллой Хомейни – происходит осуществляемый Западом культурный захват всего и вся. Кто здесь прав, кто виноват – вопрос, пожалуй, праздный. Я-то, хоть и не люблю Запад, желаю ему успеха: он хотя бы, в случае окончательной победы, защитит евреев, как бы к ним ни относился.

– Вы упомянули в разговоре Россию – от этой темы нам все-таки никуда не уйти. Вам ведь приходится нередко наезжать туда?

– Я не знаю, что там происходит. Все отодвигается куда-то в сторону, исчезает, растворяется, перестает быть реальной силой.

– Может быть, место совсем еще недавнего прошлого занимает История, если позволено будет так выразиться?

– Чем больше думаешь о современной России, тем более она кажется странной. Ведь еще пару десятилетий назад, да и позже, это была своего рода вторая Америка. Я имею в виду имперский размах и не так уж пло-

хо функционировавшую систему всяческих связей – хозяйственных, культурных, административных. Экономическое положение страны в брежневскую эпоху не выглядело столь катастрофичным. Может быть, эта система нуждалась в постоянных локальных войнах? Отхватила кусок, переварила... В конце концов, это тоже своеобразный национальный проект – все время быть нацеленным на соседей.

– Вы не испытываете ностальгии по этому утраченному состоянию имперскости? В нем все же были элементы подлинного величия, в том числе и культурного.

– Ностальгии не испытываю ни малейшей. Человек из империи, я сумел внутри себя избавиться от имперскости. Но сегодня я отношусь к России без зла – увиденный мною Запад примирил меня с нею. Если говорить о культуре, то это действительно функция империи, эманация имперскости. Когда империя растет, набирается сил, у нее появляется желание нравиться – будто вторичные поло-

вые признаки, какие-нибудь зубцы у ящеров. Я сам был в таком зубце, и как ученый, и как поэт. Но я ученый, а потому должен отделять науку от зубцов ящера, пусть даже весь мир фактически состоит из нескольких ящеров, сводящих друг с другом счеты. И теперь мне смешно слышать про культуроманию, свойственную русской интеллигенции, слушать стихи, воспевающие виллу Боргезе. Ну, был я на этой вилле... Что еще произойдет в России, никто не знает, но затевая разговор на эту тему, мы вступаем в область беззастенчивых спекуляций, чего хотелось бы избежать.

есть ли жизнь после литературы

Лиля Панн

(в газете «Печатный орган», 37 и 38, 1995)

...Михаил Деза, математик с мировым именем в области дискретной геометрии, с 1971 года парижанин, а в юности – «московский литератор», понизил литературу в должности резко и бесповоротно еще тридцать лет назад. Предлагая читателю нижеследующую запись разговора с Михаилом Деза, я руководствуюсь соображением, что честная и умная критика идет на пользу всем, в том числе и литературе, причем в этом последнем случае критика может даже и не быть особенно умной при условии, что – как это порой происходит – она сама становится недурной литературой. Да здравствует литература!

– Миша, ваша книга стихотворений в прозе, изданная в парижском издательстве “Синтаксис” в 1983 году, называется “59-62”. Что, у математика проверка гармонии алгеброй начинается с вешалки?

– Я просто вынес в название те годы, когда я всё это сочинил, – суть в том, что с 59-го по 62-й год я был одним человеком – поэтом, а уже на следующий год я был для себя совсем другой человек.

– Младший брат того, кого вы в своем предисловии так представляете читателю: “Пусть плеснётся здесь, в зеркальце несуществования, этот неживший, старший и страшный брат”. В каком смысле “неживший”? Вы имеете в виду свою “несостоявшуюся карьеру малого московского поэта”? Или: не живший полной жизнью, и потому “страшный”?

– Вы хотите вместо интервью исповедь?

– Не возражаю.

– Хорошо, мне скрывать нечего. Начнем с примечательных для меня 14-ти лет, когда обозначился новый пейзаж в моей жизни. Я стал немножко различать между тем, чего хочу и что могу: стал видеть этакий суп, в котором плавают такие огромные рыбы возможного и невозможного – в большой жидкости страха, что что-то не выйдет. В этой ситуации я старался расширить число возможностей, накопить какую-то энергию и постепенно выращивать маленькие такие желаемости, т.е. цели. Где-то в возрасте 18-ти лет у меня появился голос, и я научился ясно, четко, как мне говорили, выражать свои мысли. Часть потока моего страха превратилась в организованный текст.

– С психологией творчества эта трансформация вполне согласуется. Вы пишете: “У меня появился голос, но еще не было души. Короче, я писал стихи и начал было жить этой второй безопасной жизнью в приручаемых словах”. И в какой-то момент вы почувствовали фальшь этой жизни, знакомую, должно быть, каждому поэту, да?

– С самого начала литература казалась мне слишком простой, я чувствовал, что это не полное описание фактов, и значит неверно, и значит самообман – самый страшный обман на земле. В самой писательской судьбе я чувствовал обман: ты пишешь, живешь в том, что ты пишешь, а потом кладешь перо и проживаешь другую жизнь. Я никак не мог понять этот парадокс. Какая жизнь настоящая? Эти две жизни были шизофренией для меня. И у меня возникло желание жить, я понял, что в литературе нам брошен какой-то кусок вместо того, чтоб мы жили. В моей московской среде – это был своего рода *urrer middleclass*— у нас не было доступа к таким позициям, воинским что ли, когда ты – решатель, администратор. А был доступ к, скажем, жреческим позициям: наука и искусство. Это был единственный для нас способ развития личности. Социальные условия того времени определили наше отношение к литературе как к магии. Одно время я искренне считал себя московским литератором. Что меня привлекало в этой роли? Во-первых, в России это всегда была форма, в которой ты мог быть пророком.

Этот образ тогда нам казался тем волшебным универсальным методом жизни, когда одновременно всё есть: и твое желание быть хорошим, и твоя сила, и твое желание добиться доступа к женщине – всё сливалось воедино. Вот туда и бросались молодые самцы, к которым я принадлежал.

Я немножко метался между тем, кем стать – литератором или математиком или еще кем-то. В роли литератора было решение и полового вопроса. В роли ученого была самокастрация с самого начала, но был переход к особой власти монаха. Сначала я стал поэтом, потому что понял “власть глагола”. Было еще сильное переживание, что я принадлежу к меньшинству, *mogalmipority*, каковым было русское еврейство. Я, как и многие из нас, был случаем *minority*, которое хочет вылезти из него: из предназначенной роли зубного врача – в Джойсы.

Следующий этап настал, когда я как-то бессознательно почувствовал, что надо идти по жизни, пока тебе не набьют морду. Идти, идти, а когда набьют – отступить; например, в литературу, которая что-то вроде танка. То есть понял, что литература – это не дом, что

не будет “отечеством нам Царское село”, не пригреет меня литература.

– *А как у вас обстояли дела с литературным талантом?*

– Я никогда не видел, не понимал, что есть такая вещь, как литературный талант. Есть только выживаемость. Обезьяны, бегущие по плато, – это всё еще продолжается для меня. Бежит молодая обезьяна и имеет какое-то желание. Во мне поэт оказался первым приближением меня, а зверь – вторым приближением, более точным. Не верю, что категории литературы, искусства стали универсальными. Пещерное искусство не кончилось. Есть охотники, которые вечерами рисуют. А есть охотники, которые только охотятся. Художник – это тот, кто рисует после хорошей охоты. Но все должны идти на охоту. Талант – это маленькая часть в “могу-не могу”. Я понял, что всё могу по отношению к тому, что хочу. Понял, что у меня есть самоцензура, что не захочу того, что не могу. Решил верить инстинкту и что на уровне желаний мой инстинкт защитит меня от не-

компетентных действий. Это по поводу моего “таланта”.

– Но вы же различаете литературные фигуры вокруг себя по уровню?

– Я различаю материал и как он представлен. Я всегда был нервным мальчиком, который с помощью слов передавал свои переживания – и больше ничего. Думаю, что так же обстоит дело и с другими. Не вижу литературу, о которой вы говорите. Всё, что я вижу (вернитесь к моей модели) – стадо обезьян, бегущих по плато; вижу дорожку, по которой мы бежим, чувствую напряжение в ногах... Я использую эту неприятную метафору, чтобы смыть грязь, то есть ложь, с понятия литературы. Мне хочется правды ситуации, как многим нормальным людям на земле. Я говорю об обезьянах, чтобы помешать вам говорить о литературе, потому что это ложь и чушь в данной ситуации. В моей ситуации, по крайней мере. Литература была для меня раздвоением, что означало потерю времени. Я восхищался одним итальянским художником, Лучо Фонтана, который писал

ножом по картине, так как ему нравилось, что нельзя уже ничего исправлять. Мне нравится в жизни то, что ее нельзя исправлять. Возможность исправлять раздражала меня в литературе. Я потому стал ученым, что в науке оскорбительных ситуаций потери времени было меньше. А в литературе я почувствовал, что могу производить образы, которые нравятся людям – текст, текст, такие галеты – ложный шокинг. Легко было производить этот резкий прыжок к людям, и мне стало казаться презренным, что я буду выдавать эти галеты. Понял, что не развиваюсь от этого.

Литература – это такие сжатия картин реальной жизни до малого, управляемого размера. Мне не нравится любая ситуация, в которой есть какая-то подозрительная рамка: вот это литература, а это – нет. Меня устроит только если всё – литература, всё, всё!

– Включая наше интервью?

– Только если включая все наши интонации, наши лица, всё! Вернемся к парню, который пытается жить свою единственную жизнь. Я,

как и все люди на земле, боюсь. Если я вижу, что следующий шаг ведет к опасности, останавлиюсь. Как обезьяна, иду до тех пор, пока не почувствую большой страх. Когда я увидел, что мог бы выжить в роли литератора, то осмелел и полез дальше. И всё лезу, лезу, лезу. Довольно легко нервному мальчику из minority научиться производить занятные галеты. Только пускай это делает так называемый поэт. А я не хотел остановиться на этом, как это и делает множество людей. Надо идти, продолжать это магическое бросание себя в неведомое. Надо еще быть юношей.

Жизнь слишком коротка, вот в чем дело. Мой приятель, философ Виктор Тупицын, говорил мне, что я зарываю талант в землю. Наоборот, чтобы не зарыться в землю, я пошел продолжать дальше жить. Моя задача всегда была понять, кто я есть (мы же не знаем, кто мы), что я могу, что хочу. Я понял, что взрослые люди нас обманули, что правильно было, когда нам было 14 лет. Центральное во мне то, что я не нашел в так называемой взрослой жизни ничего, что было бы достойно заменить страхи и идеалы юности. Попробовал

быть взрослым, попробовал есть их хлеб, но он оказался ничтожен. Литература – это одна из взрослых штук, не из самых противных, но достаточно безвкусных. Мне принять литературу и искусство – это было отказаться от жизни, то есть от юности. Юность – это единственная реальность для меня, это то, что я называю – обезьяны, бегущие по плато.

– На этих обезьянах мы с вами далеко не уедем.

– Ничего не могу сделать: возможно, я не вписываюсь в интервью, это другой разговор.

– У нас не интервью, а исповедь. Расскажите о математике. Ощущали ли вы раздвоение, от которого вас тошнило в литературе, и в математике?

– С математикой лучше. Это все-таки громадное, невероятное поле деятельности, в котором я был усмирен. В отличие от литературы, которая легким миром оказалась, в математике – огромные силы. Надо быть на две головы ниже того, что хочешь, а не выше того, что можешь.

Вопрос был для меня: быть ли одним из первых на деревне или последним в городе. Знал, что в математике мне быть последним в городе, и поэтому-то, к большому удивлению моих бывших сокурсников по МГУ, выбрал математику, то есть стал серьезно заниматься ею.

– Мне рассказывали – о вас ведь существует легенда – как все обалдели, когда “плейбой” Деза, на мехмате так и не выучивший, что такое производная, вдруг полез в науку!

– Производная?! Я знал, что надо мной те отличники смеялись, но не до такой же степени... Что ж, теперь я – известный ученый. Да, сначала был последним в математике, потом предпоследним и т.д. Потом стал первым-непервым – неважно: математика оказалась настоящим вызовом судьбе. И еще – математика мне дает наслаждение, какое поэзия не давала. В чем ведь еще разница с поэзией, кроме способа выживания? Математика дает такое ощущение, будто у меня волшебный сад. Могу каждый вечер срывать плоды познания с того дерева, с которого их срывал Адам. Это

такая радость для. Ну, что может быть приятнее, чем стибрить у Бога с дерева добра и зла? (Смеется.)

У меня, как у папы Карлы, есть золотой ключик. А поэзия – это обставить тридцать русских интеллигентов и получить доступ к какой-то неинтересной самке. Извините, это не вписывается в вашу литературу, но так я считаю. С математикой у меня разные были отношения. Сначала – как с любовницей, я ее боялся, потом всякое бывало. Сейчас спокойные такие отношения: я стал одним из ее мужей. Среди семи муз, Муза математики – Меланхолия. Я вижу ее так: она – большая, немножко толстенькая, не волнует меня как любовница, но я один из ее многочисленных мальчиков. Для меня математика – тихое спокойное место, где я могу срывать плоды познания, как воруют мальчики яблоки из соседского сада. Я не устраиваю из нее кумира. Если уж искать кумиры, то скорее для меня кумир формируется сейчас из чего-то вроде биоэтики.

– Вы теперь ничего не читаете?

– Я пользуюсь моими глазами и мозгами для чтения, но художественную литературу не читаю очень давно, лет 20, может быть. Она хороша, чтобы пробудить сонные мозги, а когда мозги уже проснулись, то совсем нет нужды принимать этот кофе. Я давно уже проснулся, зачем мне эта феня? Я эту феню читаю в другой форме; читаю, например, метеосводку, смотрю телевизор. Воспринимаю с раздражением условности жанра – те же гиперболы, сравнения и прочее. Мои отношения с вещами такие фактурные, интимные, что условности литературы кажутся просто удлинением пути. Литература – это этап развития личности, она нужна, чтобы человек от пахаря перешел к думающему.

– Так что на вопрос, есть ли жизнь после литературы, вы можете ответить утвердительно, не так ли?

– Не просто есть, а надо быстро спастись с тонущего корабля. Магия литературы в России была обязана ощущению, что империя вечна, что легионы стоят на страже, что все те, кто ползут вверх, получают по зубам. Спасибо, что тебе

позволили жить счастливым кастратом в гареме государства. Или ты будешь псевдопророком для маленькой группы или будешь писать детские рассказы. Это жизнь в гареме. Может быть, благодаря моей ментальной гомосексуальности, я, одним из первых в моей маленькой среде, почувствовал гаремность ситуации, включая ситуацию поэтов-диссидентов.

– Постойте, впервые слышу о вашей гомосексуальности!

– Это небольшая провокация. Как ни странно, в отношении фрейдизма я смыкаюсь с русскими интеллигентами и отхожу от западных людей. Считаю, что сексуальное – не последняя истина, а последняя истина – это трепещущий ребенок в нас. В этом смысле, я – не мужчина, хотя на тестах я показываюсь как супермужчина. Но в мужчинство не верю, одеваю его как водолазный костюм, когда иду в какую-то ситуацию – борьбу, например. В еще большей степени – по тем же причинам – я и не женщина. Я – трепещущее дитя, не половое, и это хорошо. Половое – это одежда. Я себя во многом осво-

бодил – и от пола почти тоже. Говоря о своей гомосексуальности, имею в виду использование психологии обоих полов. Как и многие творческие люди, перехожу из состояния одного пола в другое – из мужественности в женственность. Люблю женскую близость, мне не нужна мужская, но всё это для меня мелкие вещи. Главное, что по методу восприятия и выражения я одинаково сходен с обоими полами. Желание контролировать у меня чисто интеллектуальное. Моя жизнь – это понимать, а не быть мужчиной или женщиной. Живу в “понимать”, а все остальные ситуации – приближение к “понимать”. Даже ситуация половой близости. Не могу полностью отдаться этому делу, потерять голову, кусаться и т.п. Что же, тем хуже для этого дела и тем лучше для моей головы. Голове хорошо, значит, и мне хорошо. Я – это мое трепещущее сердце. При мне кормятся разные вторичные “я”, и в том числе “я-самец”. Надо его подкармливать, но я ему ничего не должен больше этого.

– А ведь у вас имидж плейбоя. Легенда о вас говорит, что у вас повышенный интерес к прекрасному полу, что вы – соблазнитель и т.п.

– Я бы очень много дал, чтобы узнать, какое понятие “повышенного” или “пониженного” имеет смысл. Вся эта легенда о “соблазнителе” – чушь. С самого начала я хотел интеллектуальной свободы. Мне трудно себе представить стремление к свободе без стремления к свободе понять женское, как и понять государственное. Стремление “переспать” с каждой женщиной у меня было с самого начала – как и стремление прочитать все книжки. Эти цели я не только считаю достойными, но сравнимыми и взаимозаменяемыми. Женщина была для меня книжка, а книжка – женщиной.

– Всё-таки пропал в вас поэт.

– В моей конкретной жизни я женщину хотел соблазнить, чтобы – как сказал Окуджава в лучшей своей песне – “И соблазнить ее пытался, чтоб ей, конечно, угодить”. Я считал всегда высокой ценностью, очаровательной ситуацией, когда люди сидят вместе и голые. В этой ситуации всё неожиданно становится значительным – и она, и я. Всё становится сделанным из какого-то редкого мрамора – так же, как и ситуация твор-

ческая или когда читаешь очень интересную книжку. Именно в этом плане – по молодости лет – я не видел столь значительных ситуаций, как сексуальные. Мне нравится выражение “познать”, которое еврейская религия употребляет по отношению к сексу. “И он познал ее”. “Познать” ее и себя в эту самую минуту. Но мне никогда не нравился оргазм, признаться, – потому что он похож на наркотик, и в нем – в нашем мужском оргазме, в моем, по крайней мере, всегда был момент потери контакта, какое-то мучительное расставание. Так она была важна, так она присутствовала – и тут с какой-то скоростью света она исчезает. А вот момент неожиданного падения в ситуацию сближения людей, немножко даже слишком быстрого сближения с ней, меня безумно потрясал. Чем было ближе к самому половому акту, тем я становился на самом деле скромнее. И магическое в сексе я до сих пор уважаю. Что касается легенды обо мне, то это непонимание. Действительно, часто хотел говорить с женщиной о сексе, ситуация уже становилась драматической, даже если мы с ней только говорили о возможности близости. Так что к этому я часто стремился. И это создало

мне определенную репутацию. А я-то просто хотел интенсивной коммуникации, чтобы было не по лжи, а ситуация секса – это как пойти в разведку. В сексе мне нравилась невозможность исправить, там тоже пишешь ножом по холсту: малейшая ошибка и, в отличие от литературы, всё испорчено! Дрожа и трепеща, но мне хотелось быть в реальной жизни.

– *Что все-таки вы называете “реальной жизнью”?*

– Это ситуация, в которой не будет информативности и интенсивности, приходящей от литературы. Я написал в предисловии: “в несправедливом окружении собеседника”. Мне не нравится в литературе, что ты один, никто тебе не мешает, есть воображаемый зал из миллиона человек или доброжелательная к тебе женщина. Это слишком легко. Есть неограниченное количество времени, неограниченное пространство, есть воображаемая доброжелательность внешнего мира, ты остаешься со своими солдатами управлять ими. Наверно, так и надо делать, пока тебе трудно. Но когда это становится по-

вторичной ситуацией, это интеллектуально нечестно.

Так вот, я хотел максимально войти в реальную жизнь, сколько можно и не страшно. Я подошел к ней, стал влезать в нее и до сих пор не вылез. А я был стеснительный мальчик...

– *Вы-ы-ы?*

– Был и есть. Свобода выражать свои мысли ничего общего не имеет с раскованностью и выглядит нестеснительностью только в узких литературных кругах, а в реальной жизни обычные люди ничего не понимают в этом и плевали на эту способность, у них другие правила игры. Там перед нами плоскость человеческих желаний, категории очень презренные, но мир подлинный и страшный. Источники страстей там, а не здесь. Я пошел в реальную жизнь, чтобы общаться с так называемым зверьем. Ради чего? Поля энергии находятся в тех людях. А литераторы питают нас пеной, то есть не свежим мясом, а шкуркой. Сам изготавливал шкурку, знаю, как она несъедобна и неинтересна. Больше я это есть

не буду. Хочу настоящие переживания. Они то у так называемых неумных людей, хотя они не могут ничего выразить. Вернее, выражают всё в другой форме – урчанием, мычанием, действиями, но энергия-то – настоящая. Умные вместо себя вам предлагают свою литературу, а глупые – ее предложить не могут и предлагают либо ничего, либо – настоящее свежее мясо – ценное, единственное: себя.

– *Ну, и где вы неумных нашли?*

– Пошел к актерам – в трудную ситуацию для меня. Уехал за границу, когда никто еще не уезжал – в 1971-ом году. Всё за тем же – людей повидать, себя показать. Пошло-поехало. Японию, например, открыл для себя. Реальную, а не “ветку сакуры”.

– *Вы не жалеете, что уехали?*

– Нет у меня гордыни – и значит нет мысли, что я мог бы по-иному решить. Есть уважение к ветрам прошлого, которые меня туда привели. Рассказываю, как я выжил, это для меня

не литература, просто рассказываю, где найти бананы. Когда я говорю про обезьян, я говорю о модели процедуры познания. Я выбирал дорожку там, где было больше познания. Не руководствовался принципом максимума удовольствия, а искал минимума ударов в морду. Если в каком-то направлении получал по морде, то останавливался. Но я так же останавливался, когда видел, что получаю мало информации. Мне жена как-то сказала: “Ты живешь, словно идешь по улице, куда красивее. Идешь, идешь, а потом утыкаешься во двор и стоишь перед стеной, а дальше идти нельзя. И ты отступаешь на один шаг и снова идешь, куда красивее”.

– И куда вы по таким зигзагам пришли?

– Всё еще иду. Меня очень часто во Франции спрашивали, а когда же мне хорошо. Им кажется само собой очевидным, что цель жизни – это счастье. А вот Маркс, Ленин отвечали, что цель жизни – борьба. На том Востоке, к которому мы с вами принадлежали, счастье рассматривалось как плохой оргазм, мастурбический. А когда же хорошо, когда же наслаждение? – спрашивали

западные люди, – и Маркс, Ленин, с которыми я в данном случае солидарен, отвечают: когда ветер в лицо дует. Раз дует, значит я двигаюсь, а раз двигаюсь, значит живу. Мне ничего не надо перед самой смертью, кроме того, чтобы кто-нибудь феном дул прохладный воздух в мою старую, усталую морду, чтобы мне казалось, что ветер по-прежнему дует в лицо...

Я бегу, хотя я давно потерялся. Вместо того, чтобы сидеть на “чужой свадьбе” (это не образ, это горькая правда – это чужой праздник чужих людей, та жизнь, которую мне предлагали большевики, а потом диссиденты – это на чужом пиру даже не похмелье: до похмелья дело не дошло), вместо этого я ушел в сад и потерялся. Потерялся, а живу. У меня давно уже нет ни работы, ни удовольствия в отдельности; всё перемешалось. Всё – единый суп жизни. Такая вот без налогов жизнь. Обычно мы живем по разрешению кого-то, мы – государевы люди. Я тоже был государев человек, но сейчас использую оставшееся время жизни для себя. Один молодой математик и полиглот, Питер Франкл, написал книгу, где есть такая глава: “Мишель Деза – гражданин сво-

боды”. Я, действительно, сравнительно свободный человек. Я, трусишка такой, сбежал с чужого бала и накопал в своем саду много, много свободы.

Каждый раз соизмеряю мои возможности с желаниями, но принцип один – максимизировать понимание. Одно время у меня было так много возможностей, что я практически перестал смотреть в свою торбу, сколько их там. Но время идет, постепенно “невозможности” начинают показывать себя, и приходится многого не делать, так как нет времени, сил и т.д. Но я никогда не хотел, как многие, зайти куда-то и там остаться, сидеть в берлоге. Всегда действовал так – и это считаю самым ценным и называю это юностью. Всегда будет время найти себе берлогу. Может быть, оно придет скоро. Но пока продолжаю всё “награбленное” вкладывать в бизнес понимания. Это и есть моя юность: не строить берлогу.

– Она совпадает у вас со старостью, то есть с жизненной умудренностью, когда человек понял что-то существенное о жизни и готов в любую минуту уйти из жизни, да?

– Ничего я не знаю о жизни, я – всё такое же трепещущее дитя, был и буду. Внешние категории иногда пытаются войти в нашу жизнь как абсолюты. Когда категория подходит ко мне, заявляя: “я абсолютна”, думаю, как ее обмануть. Вот так большевики в нашу жизнь входили: мы есть и будем. Потом такой силой стала для меня русская литература. Удалось послать их всех к черту и прожить без их женщин. Следующая сила – карьера. Опять я наплевал на нее, всё равно не умираю с голоду. То же самое и старость. Появляется новая штучка, – может, она меня и уест, не знаю, но по-прежнему себя чувствую тем самым юношей, который думает, что он сейчас её победит. Как, еще не знаю, но в подступлении старости не вижу принципиально новых трудностей с точки зрения борьбы с абсолютами. Моя жизнь может быть ошибка, но не ложь. Нет никакого “гамбургского счета”, о котором мы с восторгом читали в молодости. Нет одной истинной шкалы оценки, в мире слишком много разных вещей. Двигаюсь путем отрицания чуши: проверить, что чушь или не чушь – легко. Так я разобрался со своей ролью российского

литератора. Вся моя жизнь – расчистка пути от чуши, а остатки неизвестны. Самое важное на свете – умереть честным человеком. Надо стремиться непрерывно честнеть.

– *Красиво сказано.*

– Это моя “поэзия”, или постпоэзия: способность видеть и это видение резким рывком передать.

– *Постпоэзия для вас красота?*

– Постпоэзия для меня – четкость, ясность формул. В точности – гармония; ее последствие – красота. Но целью она не может быть, цель – точно передать ощущение. Моя поэзия – способность передать мое моральное усилие быстро, точно. Превращение определения в глагол было способом подчеркнуть очень быстро динамическую, волевою и моральную сторону дела. Эта трансформация – акт поэзии в жизни. Нож поэзии. Моей целью было поднять вас и меня в сладостном ощущении взаимопонимания.

– *А вы не используете “нож поэзии” в трудные минуты, ведь “поэт” — это создатель по-гречески?*

– Поэзия для меня – это не какая-то особая комната, как бывает в аэропортах для пассажиров 1-го класса. Я спасаюсь иначе, быстротой и широтой моих интересов. Когда меня “достають” в реальной жизни, я очень быстро перескакиваю в другой кусочек той же реальной жизни. Быстрота перескока осуществляется средствами поэзии, у меня ноги, как у стрижа. Знаете, как уничтожили воробьев в Китае? Кричали, сгоняли, не давали им сесть, и они умерли от усталости. Поэзия для меня – это быть птицей. Поднимаюсь в воздух, трепещу крылышками и опускаюсь через 20 метров на ту же самую реальную жизнь.

Прыгая по жизни испуганно, я нашел в ней очень интересные вещи. Во-первых, наука, я ее проживаю как эмоциональное событие каждый день. Во-вторых, мои поездки, которые являются для меня эстетическим действием, поэтическим видением. Мои отношения с Индией, Японией, например, чисто эротические.

Энергия, которая освободилась от поэтизма, ушла в реальную жизнь. Почему я говорю постпоэзия? Перестать писать стихи совсем не означало перестать жить поэтически. Раньше я жил поэтически, когда писал стихи; теперь я стал жить поэтически значительно больше. Но не всегда, конечно. Это стало защитой вечной юности. Наверно, я взял у поэзии самое важное – это ощущение моментальной юности, продвинул его на разные ситуации. Единственным способом сохранить поэта во мне – это было перестать писать стихи!

– Знаете, многие люди, которые и не собирались стать поэтами, жили с самого начала инстинктивно поэтически. Масса людей так живет. Большинство женщин так живёт.

– Хорошее замечание, но я считаю, что пройти через поэзию в чистой форме очень полезно. Я сказал в предисловии, что у меня проснулся голос. Что отличает человека от обезьяны? То, что у него есть язык. Это очень полезно – пройти через эту магическую власть над языком. Не знаю, что бы из меня вышло без опыта от-

ношений с языком, как бы я научился ходить на ногах. Ползал я вначале.

Главным остается стремление к предельной ясности. На этом же пути постепенно возникли для меня категории добра и зла. Почувствовал, что мне это необходимо, это возникло, как у дикаря возникает потребность в религии. Это шло не из концепции, а непосредственно из переживания. Добро и зло – это магическая связь с миром. Добро – это то, что мне хорошо, а зло – то, что плохо. В мире добро и зло сами по себе не живут, многие бы мечтали, чтобы они были бы объективными категориями. Например, объявляют: Бог есть.

– А Его нет?

– Не люблю слово “Бог” за персонифицирование ситуации: как будто сидит в кабинете начальник, не спящий по ночам. Для меня это ненужная категория: раз есть Бог, я должен какие-то отчеты посылать. Говорю так: если Бог существует, то он мне поручил быть своим единственным представителем во всех областях моего опыта. Он уже подписал эту бумагу

и подпись свою не может нарушить. Так вот, фраза: “Бог есть” означает, что добро существует вне людей. Когда люди говорят о добре и зле, на самом деле они говорят о том, что такое они и мир. Идеи Ада и Рая содержат в себе ложь, как и литература. Они пытаются дать место, границу, вне себя – добру и злу. На самом деле тоньше. Самое красивое, что я о добре и зле прочитал, сказано в Каббале. Это там, где говорится про разбитые сосуды, про черепки. Была огромная сила разделения – как сосуды – и когда они разбились, появилось зло – это сила разделения, потерявшая функцию разделения. Зло – в каждом из нас. Отсюда идея кошерности: разделяй, не смешивай.

Еврейская религия ненавидит дуализм, манихейство, отрицающее единство Бога. “Бог” мне нужен сейчас только для иллюстрации идеи единства. Меня возмущает идея добра, которое покидает человеческую шкалу. Поэтому у евреев нет священников, каждый еврей – священник. У них нет храмов. Синагога – это не храм, а просто удобное место, оно не священно. В синагоге священны только свитки Торы. Вот протестанты, перечитав Тору, поняли, что идея свя-

щенника возмутительна. Не говоря уже о Папе, этом лоббисте в небесной канцелярии.

– Вернемся к грешной литературе. Вы не видите в ней языка для связи между людьми, способа преодоления одиночества, замкнутости в эго, контакта с другим существом?

– Поэты довели искусство не-контакта под видом литературы до совершенства. Любой контакт – телесный, разговорный – лучше любого литературного. Мне кажется пошлым предпочитать живому человеку любую литературу. Бесценен отдельный человек. Только если его нет, тогда спасибо за суррогаты. Спасибо за искусство, которое, в отсутствие доступа к живым людям, предлагает их суррогаты. Искренне – спасибо.

– А спасибо за несколько тысяч лет доступа к людям прошлого? Спасибо за “Песнь песней” и тому подобное?

– Конечно, спасибо. Спасибо, но спокойно. Если я не могу сейчас коснуться князя Игоря,

дайте мне суррогат – “Слово о полку Игореве». Спасибо за полезный и важный суррогат. Спасибо, но я не сотворю себе кумира. В той мере, в какой из этого устраивают идеологию, меня это раздражает. Спасибо за искусство суррогатов. В мире нет другого искусства.

Поэзия по сравнению с реальной жизнью – это какая-то параллельная комната, где можно всё переделывать. Вместо того, чтобы описать ситуацию, лучше промолчать её, прожить её в душе. Описать – значит как-то унизить событие. Я называю Словом не слово сказанное, а то, которое БЫЛО. Промолчать – значит, интенсивно подумать, пожить в нём, а не превратить его в продажное. Есть бессловесные явления, Слово – это то таинственное, нематериальное, что есть между людьми и миром. Вначале было Слово, я имею в виду одновременный с миром явлений мир моральных значений. Для меня одно время поэзия была единственным способом приблизиться к Слову, а потом она стала помехой развития интимных отношений с ним.

Поэт – это человек, который производит значения-слова. Они должны быть ближе к

Слову. В моем конкретном случае – я вовсе не говорю за других – хотелось поднять качество и интенсивность моего видения жизни, и именно поэтому я стал поэтом, и по тем же причинам им быть перестал. С той поры, как я перестал писать, в душе освободились место и сила подойти к вещам, к которым бы я иначе никогда не подошел бы. Теперь я знаю вещи, которые, если внести в стихи, были бы очень интересны. Посмотрите, как ведут себя многие поэты – как люди, которым уже больше не нужен материал. Это недостойно – не пытаться узнать больше. Творческие люди знают, что понять что-то по-настоящему и объяснить это по-настоящему – одна и та же энергия. У пчел, матка сохраняет сперму самца после единственного спаривания на всю жизнь. Так же ведут себя поэты: уже – всё, мы уже пожилы, особенно, если он в тюрьме посидел немножко. Но это же большое счастье бросаться в новые знания и изучать жизнь. Поделиться с другими людьми своими знаниями о жизни – это тоже наша обязанность, но сначала надо узнать что-то существенное.

Мой совет человеку, решившему всерьез заниматься литературой: стань монахом ордена Литературы, уделяй много времени другим знаниям, чтобы по-настоящему проверять себя. Проведи 10 лет в аскезе, как монахи делали. Сначала у монаха было призвание, потом он 10 лет сидел в пещере. Он не был святым человеком, он учился, учился есть насекомых и так далее. Потом он спустился с горы, становился монахом. Нужно 10 лет аскезы и для поэта. Такой аскезой в наше время является тяжелый проход через науку. Поэт, который ничего не знает о науке, это монах, получивший монашескую торбу разве что по наследству. Недостаточно посвящения, надо есть саранчу математики, саранчу генетики, саранчу иностранных языков. Если быть поэтом, то вроде Волошина. Он, хотя и писал много, громадное время тратил до конца жизни на изучение мира. Поэма “Путями Каина” – его последняя – показывает, что он не только проник в историю, но и хорошо знал техническую культуру. Будучи математиком, признаю, что поэма невероятно красива и в этом отношении, и при этом остается поэмой

во всех смыслах. Это его высшее и лучшее произведение. Он – человек Возрождения, в котором было одновременно желание понять и желание объяснить. И физик он, и лирик. Он мог себе позволить быть поэтом. Он сумел и расти, и писать. Он дружил, читал, писал. Если бы я мог быть поэтом, то был бы, как Волошин. Но я не смог, слишком был страстным, слишком “моментальным”.

– *А какие из художественных особенностей поэмы “Путями Каина” вы особенно цените?*

– Я не могу говорить о художественной форме отдельно. Когда обнимаешь женщину, не можешь отделить её запах, текстуру кожи – всё вместе, всё слитно. Так и форма неотделима от содержания, иначе что это – улыбка чеширского кота?

не бойся, не надейся, не проси

Лиля Панн, 1996

– Миша, в предыдущем нашем интервью вы рассказали, как спаслись от литературы (вымысла), убежали от нее в математику. В истории литературы известны случаи побега из нее как в науку, так и в религию. Бежали писатели столь знаменитые, что называть их имена излишне. А что для вас религия?

Надо вернуться к основной моей модели: кто я и кто мир. Не знаю, кто я и кто мир. Но знаю, кто не я – скажем, не советский человек, вся моя жизнь была борьбой за то, чтобы принадлежать только себе. Хочу быть самим собой, не знаю кем – просто маленькой территорией, маленьким государством, которым управляю сам. Тогда надо спросить, не что такое религия, а как у меня получилось познакомиться с религией. Первым личным знакомством стало прочитать книгу Гершома Шолема, известного кабалиста немецкого происхождения.

– Вы начали прямо с Каббалы?!

– Так уж сложилось. В Каббалу я пришел, как приходил в разные науки (космологию, гене-

тику, биологию, химию) – набрать концепций. Как набирают грибов. Мы, ученые, умеем жить концепциями, то есть живём с нематериальными вещами, как с материальными предметами. Я – ремесленник, чиню сапоги, мои предметы – это понятия. Ученые – это ремесленники, которые кроют невидимое.

– Вот и мой знакомый физик Анатолий Шабад, доктор наук, заметил, что теоретическая физика, прежде всего, ремесло.

– С наукой у меня всё ясно: есть, был и буду ремесленником. Глубоко уважаю средневековые цеха: вся демократия, вся свобода – отсюда. Идея ремесла мне важна, потому что я нашел себя в ремесле. Нашел чувство семьи. Между прочим, я люблю вашего мужа не потому что он ваш, а потому что я в нем чувствую интимную любовь к ремеслу, эту наивность ремесленника, вижу брата по гильдии, вижу на нем эту шапочку немецкую.

– Как жаль, что мне не дано было увидеть этой шапочки на нем. И на вас, и на ваших коллегах. Но вроде бы сейчас вижу!

– «И увидел я, что ничего лучше нет для человека, чем наслаждаться плодами рук своих» – это понимали с дней Екклесиаста. Сила Библии в том, что в ней метафизическое слито с материальным и эмоциональным.

– От науки наконец переходим к религии?

– Религия при таком моем мировоззрении оказалась неважной. Раз всё равно я уже признал грандиозную концепцию мирового вызова, мне не нужно было затыкать дыры в представлении о мире пробками религии. Но религия появилась в моей жизни, когда я пытался научиться новым приемам, или ремеслам.

Каббалу Гершом Шолем толковал как ученый, но доброжелательный. С его помощью я преодолел некие несуразности иной культуры, которые почувствовал в Каббале. И я видел через каждые какие-нибудь там пять страничек невероятно точные и красивые образы, которые меня прямо всколыхивали.

– Как бы тут не помешали примеры...

– Да чуть ли не каждый образ. Ну, цимцум, появление Торы (дождём букв и чёрным огнём по белому), её покрывало: несколько неизвестных мини-описок, предполагаемых в тексте...

Я увидел, что ничего ближе к моей поэзии не было во всём, что знал о религиях. И стал искать «ремесла» в разных религиях – прообразы, ситуации, модели. В индуизме тоже нашел фразы, которые поражали своей точностью. А вот христианство меня не трогало из-за своего отказа от конкретного, отталкивало своей кастрацией морального.

– *Нагорную проповедь всё же нельзя не заметить!*

– Отказ судить меня не устраивает. Плохо скрываемое равнодушие христианства к основным проблемам земного существования меня раздражало. И его неточность, неопределенность. А в еврейской религии (и в индуизме) меня как ремесленника тронула точность статуэтки.

А потом прочитал одну книжку на русском, «Я верю» Штайнгольца. Эта книжка ока-

залась очень подходящей, поскольку автор, бывший математик, начинал с моего мира. Я увидел, как мой же подход к жизни может превратиться в религиозную страсть. И подумал: ведь знаю же (как все интеллектуалы-профессионалы), что если хочешь что-то понять, нужно иногда уступить. Так и сделал с еврейской религией: поддался ей. И вдруг почувствовал сладость влить свои интимные переживания в старые мехи. Оказалось, что старая традиция, как ни странно, готова принять наши идеи. Может быть, наши идеи не так уж новы?

Оказалось приятным простить наивность (да и не так уж это старое наивно, не более наивно, чем наши интеллигентские штучки), и у меня постепенно создалось искусство читать еврейские тексты. Пока ты не создашь в себе читателя, ты ничего не поймешь. Не сможет же человек понять ту же математику, пока не создаст в себе читателя математических текстов.

И тут объект сам повел. Как бывает, когда ты подходишь к мудрецу: если научишься его слушать, то он тебя поведет. Так случилось у меня с математикой, которая меня повела – а

я только за ней успевал бежать и буду бежать до конца жизни, счастливый. И так меня еврейская религия повела, и так мой путь пошел.

– *Вспять от Кабаллы?*

– Она дала мне, несмотря на огромное уважение к ней, меньше, чем Тора. После Кабаллы я стал читать Тору. Потом почувствовал, что меня не очень греет Пятикнижие, оно как-то далеко от меня, это описание истории. И вдруг во мне произошла то, что продолжается до сих пор – интерес к Талмуду. Он скучный вроде бы, но вдруг я почувствовал близкую мне ремесленную смелость этих штудий, людей, которые собрались и от себя, толкая от своего горячего сердца, решили создать законы. И я стал наслаждаться талмудической моральной смелостью. Сердце еврейства, как я его понимаю, мое еврейство – это талмудизм.

Мне дорога такая картина: кругом темнота, дует ветер, но – «свеча горела на столе, свеча горела». Это, в первую очередь, Талмуд.

– *Образ, взятый у поэта, к Талмуду, как известно, не слишком расположенного...*

– Неважно. Только вообразите: темь, ветер, вокруг враждебные польские селения, сидим мы – рабби, учителя – в корчме после ее закрытия и решаем вопросы Торы. Тора дает нам принципы, мы же, руководствуясь ее духом и сердцем, слушая Бога внутри нас, признавая немыслимую сложность мира, должны решить, что правильно и что неправильно. За всей технологией Талмуда, вижу общечеловеческую, теплейшую, смелейшую попытку одновременно защититься, напасть на сложность мира и обустроить его. Такой попытки, по-моему, не было никогда.

– *Интересно, что Лев Толстой, находя Талмуд нелепым (при всем своем уважении к иудаизму), дал в сборник «Мысли мудрых людей на каждый день» 110 извлечений из Талмуда!*

– У меня произошло громадное улучшение качества жизни благодаря Талмуду.

– *Благодаря соблюдению его законов?!*

– Благодаря его методу: активный морализм через веру в себя или, точнее, в активное присутствие Бога в себе.

– *Метафизическую потребность человека Каббала удовлетворяет все же полнее, чем Талмуд, не так ли?*

– Потребность в метафизике у всех одинакова. Трепещущий ребенок в каждом человеке – икс, игрек, Иванов – когда решает кроссворд, стремится в этот момент к метафизике. Меня всегда трогает, когда простой человек решает кроссворд, пытается подняться над собой.

– *А потребность в мистической связи с миром как целым у вас есть?*

– Мистика меня чуточку раздражает. Не нравится в мистике то, что я называю «плохое единство», когда несколько потребностей (потребность познать и потребность чувствовать единство мира) перемешаны. Я люблю

чистые краски. Талмуд меня подкупает своей чистотой, он ведет себя так, как будто Бога нет. Ну, точнее, любовь к людям и любовь к Богу совпадают.

– *Где все-таки место Бога на территории «я», в вашем государстве?*

– Бог в этой схеме является одним из элементов, не центральным. Да и нет потребности в центральном решении. Я умею и люблю жить только с чувством, что я не обманут. Для меня концептуальная нерешимость мира – аналог Бога. Бог есть или нет – не знаю. Даже если он есть, это не ограничит мою абсолютную свободу. Я уже говорил в предыдущем интервью с вами, что уж если Бог есть, то он сделает меня единственным своим представителем во всех областях моего опыта. Если Он вежливый, то оставит меня в полном владении моего мира.

– *Ну какой он вежливый со всеми своими землетрясениями и цунами! Но вы правы насчет полного владения «я» своим миром. Если не считать смерти.*

– Смерть – это только идея, поскольку никто не пережил собственную смерть. Это пока бесполезная мне концепция и, значит, неважна.

Если Бог есть, то что это меняет? Что, я должен чего-то такого не делать? Объявление, Бог есть или нет, – подозрительное ограничение. Свобода мне первичнее, поэтому не вижу пока никакой нужды в Боге. Идея Бога интересна, признаю; над ней можно поработать. Но я привык работать над тем, что кончается статьями с какими-то результатами, а пока меня занимают скорее математика.

Надо соблюдать этику познания. Мы не знаем, есть Бог или нет. А вот про что мы знаем, это какова жизнь с Богом или без него. Я могу говорить не о натуре Бога, а только о нас в жизни. Для меня правила интеллектуальной честности первичнее самого Бога. Вопрос в том, кто мы есть, а не в том, Бог есть или нет. Итак: раз мы не можем понять мир, давайте пойдем нас.

– Есть ли вообще место религиозному мышлению в вашей стратегии познания?

– Есть интеллектуальная красота в отказе от рациональности и вообще в религиозном мышлении. Оно интегрирует наши эмоциональные способности и процесс познания. Религиозное мышление позволяет двигаться там, где рациональность одна не позволяла. Процесс познания, как он оформился в 17-м – 18-м веках исключал наши эмоции, познание чувственное было оставлено в стороне. Я потому и зашел в религию, чтобы эти методы познания, связанные с эмоциями, к себе добавить.

– Толстой от лица Андрея Болконского говорил: «Всё, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю». Что у вас раньше с Талмудом произошло: понимание или любовь? Или какая-то другая эмоция?

– Я уважаю Талмуд за честное обращение с концепциями. Я сам живу с помощью принципа бритвы Оккама: «Не вводите новые сущности без острой необходимости». Нехорошо использовать Бога как такую палочку-выручалочку, и в Талмуде этого не делают.

– Они воспитаны на заповеди не произносить имя Божье всуе.

– Да, сидит еврей и напряженно так переставляет слова, чтоб всё оказалось точно и понятно и чтоб не появлялось новых сущностей без острой необходимости. И вдруг он рождает новую сущность. Рождает ее тяжелыми родами – это и есть этика познания.

– В тяжелых родах монотеизма когда-то родилась сущность Бог. Интересно, какой будет ее смерть, тяжелой или легкой? Ранее мной упомянутый физик Шабад рассказал мне, что почти весь XIX век физика не обходилась без понятия мирового эфира. Гениальный Максвелл, выведя свои уравнения, на которых основана физика XX века и которые не требуют концепции эфира, пытался обнаружить его до конца своей жизни, мучился в то время, как все физики об этом эфире забыли. Многие считают, что такова же судьба концепции Бог.

– Красивое сравнение. Мне нравится само мужество людей жить с концепцией в ожидании ясности. Я говорю о ситуации, когда старая цельность нарушена, а новая еще не пришла. Концепция ли Бог или что-то большее, не знаю. Но меня это не волнует. Вообще эти разговоры, что такое Бог – это разговор о том, как вести себя сейчас, сейчас, сейчас.

Всё, что я говорю, это ответ на единственный – не заданный вами – вопрос: а как? Где же силы вы берете, чтобы жить? Знаете, как у Омар Хайяма в «Мир я сравнил бы с шахматной доской»:

«Мир с пегой клячей можно бы сравнить, А этот всадник, – кем он может быть? Ни в день, ни в ночь, – он ни во что не верит — А где же силы он берет, чтоб жить?»

Я всё время пытаюсь дать ответ на этот вопрос. И он сводится для меня к известной формуле стоицизма: не бойся, не надейся, не проси.

свободу обществу потребления!

Лиля Панн, 1996

– Вы никогда не думали, что эмиграция из Сов. Союза в небогатую страну была бы меньшим культурным шоком, чем в богатую, во всяком случае, такую богатую, как Америка?

– **И**з-за контраста своего положения с местным?

– Не совсем. Мне пришла в голову эта мысль, когда я увидела тоскливые глаза наших эмигранток, разодетых во все «дефицитное» на променаде у океана на Брайтон-Бич? Некого удивлять тем, что ничего не стоит заиметь. А другого у них нет.

– Совершенно не разделяю ваш культурный элитизм. Интеллигентская честь и заключается в том, что пока человек у тебя ничего не просит, дать ему жить, как он хочет. Спасибо Западу, что он дал этим женщинам одеться, как им нравится.

– Видели бы вы их в кожаных пальто или норковых шубах с этим угрюмым, просто тоскливым выражением сытого лица...

– Я чувствую себя неудобно в этих культурных упреках, это не моя проблема, я живу в другом мире, где с теплом, с душой относятся к простому человеку.

– Вопрос был совершенно другой. Я вижу в этих телях метафору современной эмиграции. Чувствуете ли вы нашу особую, эмигрантскую уязвимость в consumer society – обществе потребления? Не изгойство в нем, а нечто вроде особо цепкого плена? Слишком много вещей и мало людей.

– Это существует и в России. Значит, мы говорим о потребительском обществе и духовной потребности вообще.

Мои поездки по разным странам оказались, скорее, поездками по разным социальным группам, я видел самых разных людей, и у меня возникло спокойное и теплое отношение к так называемым бессловесным и обыкновенным людям. Ведь духовное развитие происходит поэтапно. Есть этап активного творчества, есть этап хождения в концертные залы. Или решения кроссвордов. Или покуп-

ки шуб. Я понял неразрывность всего этого в жизни. И меня всегда пугает отделение простой жизни от разных культурных форм. Потому что я видел, как у людей выражается культура, например, в посещении храма или даже танцплощадок и т.д. Я называю Культурой всё, что делают люди за пределами непосредственного выживания, все эти символические действия.

Потребление, когда оно приходит к простому человеку, приходит как культура, как значительное облегчение в его жизни. Через потребление миллионы людей знакомятся с чем-то иным. Так происходит значительная часть аккультурации человечества.

Так, масс-медиа превратились в массовое опасное средство оглушения. Но в то же время они позволили невероятный доступ к знаниям. Перед нами загадка культуры как расширения человеческой активности. Все интеллигенты на земле – это дети тех родителей, которые прошли через этап потребления. До тех пор, пока люди не получили своих шуб, нельзя требовать от них любви к стихам. Может быть, через шубы и лежит их единствен-

ный путь к этим стихам ? Может быть, когда женщина покупает шубу, в ее голове происходит что-то духовное.

– А вы правы, Миша – ведь в результате у нее на лице тоска, а не радость! Это в западном обществе. И в России будет такое же общество, просто оно не решило пока проблем потребления.

– В России сейчас потребление функционирует омерзительно. А в Японии, через потребление идёт аккультурация общества, универмаги стоят там, как огромные храмы. Эти универмаги платят большие деньги для организации выставок. Люди приходят за покупками, но и посмотреть на выставку, а потом и смотрят выставку, и в результате духовно развиваются. Поэтому я против элитизма максимовского типа (говорю о редакторе «Континента»), слишком часто слышал в Париже такое отрицание потребления.

В России дело не столько в потреблении, сколько в появлении богатых людей, они там очень неприятные, и в России потребление

бесчеловечное. А в Индии или южном Китае, например, потребление является сейчас освободительным.

– В Америке, на пороге своего дома, я вижу поработавшее потребление. Наша улица расположена на краю огромного лесопарка с озерами, горами и множеством пешеходных тропинок. Мы почти не видим там людей, жителей нашего поселка, иногда я иду по лесу часа два, не встречая ни души. А улица и окружающие дороги переполнены машинами, направляющимися в магазины. Где тысячи людей занимаются «шопингом» как спортом.

– В моей жизни вещизм тоже был. Он прошёл по мне как буря, и ушел. Но я помню про него с теплом. Я считаю, что он должен пройти по каждому человеку. И запрещать доступ к вещам с интеллигентских позиций – это какой-то советский подход.

Мне кажется, вещизм пройдет. К основным, нужным вещам и информации люди должны иметь доступ. Другой разговор, когда этот доступ слишком велик и приносит вред, то есть

становится «эволюционным тупиком». Но на мой взгляд, страшнее контроль доступа, чем его перебор. Люди будут двигаться вперед, если им доброжелательно, с теплом сказать, что лучше не переедать, предлагая им другой продукт, но ни в коем случае нельзя ограничивать.

Например, во Франции «intellos» говорят: «Ну почему презренное голливудское кино люди смотрят, а наше французское, культурное, хорошее – нет?» Это означает: «Они покупают на свои заработанные деньги американские фильмы и не смотрят французские, субсидированные фильмы. Дай-ка, мы эти фильмы не пропустим, чтобы они смотрели наше умное кино».

Если женщина хочет купить еще одну шубу, дайте ей ее купить. А если вы хотите повлиять на нее стихами, ползите к ней на четвереньках со стихами, а не пытайтесь через знакомого в министерстве сверху ее ограничить. Она купит шубу, в ней посидит, она не такая идиотка, она есть мать всех нас, она такая же. Купит шубу, а завтра купит стихи, сама. И этим-то стихам и нет цены. А те стихи, запиханные

сверху, вместо шубы, будут наоборот тянуть ее еще больше к шубе. Опасность заключается в плохом понимании и контроле потребления, нежели в самом потреблении.

Когда мы встречаем человека слабее нас, эту женщину с Брайтон-Бич, так легко ее положить на землю, потому что мы умные, а она не читала Набокова, так легко ее пнуть в снег мордой. Давайте не будем этого делать. Давайте будем нести нашу культуру, наши знания, как некую боль, и поползем к этой женщине со стихами в зубах, потому что именно тогда наши стихи имеют смысл, когда этой женщине стало тепло, когда она улыбнулась. Вот цель знания и мораль. Пусть всё пройдет через огонь свободы.

Моя потребности в свободе и в справедливости идут параллельно. Причём, потребность в свободе главнее, она увеличивает и ведёт потребности в справедливости. В какой-то момент, когда свобода есть, встает вопрос: а что с ней делать?

Когда человек свободный, ему хочется излить свою свободу, потратить ее на справедливость. Это не этическое суждение, я со-

всем не этик. Просто пытаюсь описать свои ощущения. А если их описываешь хорошо, то они сами принимают форму этического наблюдения. Но почему я всегда пытаюсь быть точным? Потому что я чувствую потребность в свободе. Она во мне абсолютно первична. Понимаю ее через описание различных форм несвободы. Каждый из нас по-своему переживает несвободу.

Чем ты более свободный человек, тем ты больше должен ее потратить. Например, сейчас, говоря с вами, мне хочется излить мою свободу в какое-то ощущение братства через это интервью. Мне хочется передать свою свободу, я давлю на вас. Я хочу, чтобы это детское самоутверждение приняло форму морального сближения. Вот это мой основной мотив.

– *Понятно.*

– Когда человек пойдет путем свободы, то по какому-то загадочному правилу природы, он же и станет хорошим. Потому что чувствовать себя сильным и не чувствовать себя хо-

рошим, ужасно утомительно. Поэтому даже самый плохой человек должен чувствовать себя правым. А поскольку человек сильный обычно видит хорошо, считает себя правым, ему приходится каким-то мучительным путем быть правым.

Всё, что идет от несвободы будет недоразумением.

ЭТО европейская культура призывает вас умереть

Беседа Ирины Врубель-Голубкиной
с математиком Михаилом Деза
(в журнале «Зеркало» 17-18, 2001)

– Расскажи вначале немножко о себе...

– Я был создан на границе трех цивилизаций, я был русский математик, русский интеллигент и еврей вроде бы. Я быстро понял, что все эти культуры, все эти ордена религиозные предлагают знания в обмен на принадлежность, и у меня с самого начала было желание получить знания, их мощь, но не стать – не стать ни математиком, ни русским интеллигентом, ни евреем. На границе трех культур, соскальзывая из одной в другую, я собрал себя по каким-то крохам. И вот это уехало куда-то на Запад. На Западе я быстро разобрался, что это не «отечество нам Царское Село», потому что была война в Ливане, спасибо арабам, спасибо злу, которое нас кует. Во время Ливанской войны я осознал, где я живу. И тогда я поехал в Японию, стал больше космополитом, потому что мне удалось не просто переспать с японской культурой, а почувствовать, что я прекрасно могу быть японцем. Я мог бы быть и арабским человеком, я имею в виду стиль жизни. Действительно считаю себя космополитом, потому что умею наде-

вать на себя культуру и чувствовать себя в ней хорошо. Например, в Бомбее (3 месяца я жил там) я стал такой бомбейский мальчик, такой плейбой, с друзьями, конечно. Культурные метаморфозы у меня проходили много раз, поддавки чисто женские. Женщины умеют: поддаться и уйти целыми.

Мои занятия математикой – это каждодневное удовольствие. Мое творчество – это интрожексия, я ввожу в себя беспокойство. Есть что-то непонятное, то есть зло – сила разделения, потерявшая функцию разделения; ввожу это в себя и пытаюсь в маленьком таком математическом вопросе получить ясность. Переход в ясность – это приятно. С одной стороны, это к вечному относится вроде, а с другой, можно каждодневно себе урвать очаровательную неясность, которая станет ясностью. Таких, которые так живут и делают, что хотят, не так много, потому что я остался как был – русская богема, а русская богема, которая получает удовольствие от делания математики, – довольно редкое явление. Я тоже получаю зарплату, хотя не преподаю ничего, но это как художник, которому платит хорошая

галерея, который как бы свободен, но на самом деле должен производить свои картины. Наша тема, как я чувствую, происходящее сейчас с Израилем?

– Нет, не происходящее с Израилем, на самом деле тема – евреи.

– Я так и думал сказать: то, что происходит сейчас с Израилем, происходит не только с Израилем, а со всем еврейским народом вообще.

Мне кажется, что отношение к Израилю – за или против – во многом сейчас связано с отношением к воображаемому или существующему еврейскому народу. Так было часто, но сейчас особенно. Я совершенно не понимаю в тактических вещах – кто должен быть с кем, я просто не знаю. Я в каком-то смысле типичный ИТР, немножко поэт, немножко еврей, в общем, научный работник, международный, живущий довольно космополитической жизнью. И вот сейчас мне 62 года. Я говорю только о том, как сквозь мою душу проходит все это.

Мои симпатии к Израилю интенсивны, в основном из страха за то, что с нами произошло. Мне кажется, что происходит трудная для нас – тебя, меня – вещь. Есть стабильная, глубокая корневая ненависть к Израилю со стороны арабского мира, и в каком-то более глухом, перемешанном виде – со стороны европейского мира. На эту глухую ненависть, которая совсем не соответствует представлению, что наступили новые времена, очень трудно реагировать.

Я, как любой другой еврей, парализован ужасом этого вневременного явления, но, как ученый человек, привык без страха признавать, что я чего-то не знаю. Мне кажется, что громадность антисемитизма идет не от конкретных сегодняшних дней, что есть какие-то постоянные вещи. Так устроены люди – скажем, гомосексуалов всегда было 4 процента, есть какие-то постоянные структуры человеческого поведения, и вот в структурах поведения европейского или, я думаю, католического, исламского и православного мира, еврейство – вечная жертва. Нет такого в Азии, в Китае, в Индии, хотя евреи у них были. Я не

хочу обсуждать – почему, это очень сложный вопрос.

Сейчас, казалось бы, начался новый мир, будет Интернет, будем все братья, – ладно, у русских не вышло, так в Европе вышло, казалось, вместе со всеми будем радостно жить. Ан нет, как в прошлые века, как 3000 лет назад, такой же глухой ропот подступающих орд.

Вот моя короткая модель мира: я считаю, что средние века не кончились и нового ренессанса не произошло, по крайней мере что касается евреев, – основные тенденции продолжают. Многие еврейские люди очень сильно поверили в хаскалу, отделились от религии, думали, если снять пейсы, все будет хорошо. Но этого не случилось. По-прежнему в европейском мире господствует крупный католицизм, протестантство, а вот там православные берега, а на юге – ислам.

Это мы решили, что все по-новому, и оттого у нас такая паника. Надо меньше верить, что новый мир пришел, вернуться к методам психологической защиты, которые на долгое время рассчитаны. Осознать, что мы есть, что мы отличные от большинства и большинство нас

не любит. А выжить надо, любой ценой. Это простая идея, безумно простая, которая нас объединяет.

Антисемитизм меняет форму, и он развивается, как и еврейство. Это великолепная формула Лессинга, что антисемитизм – это патриотизм дураков. Мы забываем, что это не только ненависть к евреям, но и любовь к чему-то, к какой-то чистоте, которую они воспринимают как отсутствие евреев. Это конструктивная модель, связанная с каким-то патриотизмом, каким, нам трудно понять, потому что мы тараканы у них, так? И этот антисемитизм всегда был, есть и будет – сильная такая, создающая штука, которая идет по миру и сближает народы.

Что же можем мы? Мы! Какие-то воображаемые мы. Мне кажется, что еврейство будет продолжать развиваться. Оно является во многом продуктом этого антисемитизма, во многом еврейская личность сложилась благодаря ненависти, которая на нее лилась. Надо использовать ситуацию и сейчас. Продолжать жить и стараться минимально врать себе. Но если не можешь, то можно немножко врать

себе в религиозном или левом плане. И постараться часть этой ненависти, часть этого ужаса превратить во что-то положительное для нас.

Я, например, свое время распределяю теперь иначе. Людей, которые сейчас ненавидят Израиль, я просто не вижу, не трачу мое время. Короче говоря, стал тем, кого презирал, когда был молодым, – человеком, который любит своих. Это очень конкретно.

Теперь об израильянах. Осмелюсь учить. Надо начать присматриваться друг к другу. Эти три личности, которые есть в Израиле, левые – основная личность, вторыми нужно назвать все-таки религиозников, и третье – ликудство, они все-таки всегда друг друга ненавидели ужасно. Если сейчас, перед лицом осознанной смертельной угрозы, эта работа взаимного понимания не начнется, тогда действительно опасно. Неправда, что нужно смотреть только на арабов и Европу, сейчас, как никогда, нужно посмотреть друг на друга.

Первое, о чем я хочу сказать, – о реакции так называемых израильских левых. Чем больше идет время, тем лучше я понимаю, что это

естественная реакция подлинных, настоящих евреев на этот невероятный ужас, это вера, что надо в себе что-то изменить, ввести в себя не просто равнодушие, но какую-то любовь, доверие к арабам и что это нас защитит и тактически и стратегически. Я теперь начинаю чувствовать, что в этом было что-то красивое, жертвенное, не обязательно такое уж глупое, которому можно было даже и поучиться. Я, такой правоватый, говорю, что в этом была какая-то мудрость, как мудрость есть в религии. Конечно, это был самообман, но громадность ощущения ненависти, которая на нас идет, такова, что она не может не порождать религиозного типа реакции.

Адекватное ощущение опасности убивает животное. Человек не может жить с ощущением, что его должны убить сегодня утром. Мы должны воспринимать вещи реально, а когда реальное восприятие нам мешает, нужно добавлять мифы, перемешивать реальное восприятие с мифами. Мифы были, есть и будут; у нас в науке это называется парадигмой. Когда мы наблюдаем что-то, мы никогда не можем устроить чистое, объективное наблюдение,

как у прибора, никогда ничего не выйдет. Мы должны иметь ноль-гипотезу или парадигму. И вот когда мы перемешиваем нашу ноль-гипотезу – парадигму с наблюдениями, мы приходим ко второй – один-гипотезе, которая чуть ближе к реальности, и так далее. Введение мифов, чтобы решить трудные проблемы, – это нормальный процесс у людей. Тот факт, что левые ввели миф, что нам надо похорошеть, мне кажется понятным. Это про левых.

Раньше я думал, что опасность велика, и был такой ликудник легкий – будем голосовать за правых и тогда защитимся от врагов. Сейчас я понял, что моя реакция была преувеличением тактической опасности, чтобы не видеть громадности стратегической опасности. Сегодня моя временная модель, которая, может, не оправдается, такова: нужно осознать громадность вызова, нового вызова в судьбе Израиля. Он прекрасненько устоит против этой интифады, но она придет опять – через три года, через пять. Придет опять, опять, опять, сколько угодно... В этих условиях каждый должен сказать себе – еврей ты или нет? Я сейчас не говорю о доброте и хорошести.

– Ты считаешь, что есть выбор?

– Есть выбор. Я считаю так, что большинство евреев, в том числе из Израиля, убежит из еврейства. Из семьи один станет евреем, а остальные просто об этом забудут. Забывают. Я сравню с китайцами. Число евреев 3000 лет назад было таким же, убивали евреев много, старались, китайцев тоже, но почему китайцев сейчас миллиард, а евреев меньше? Я считаю, значительно больше, чем убийство евреев, на это число повлиял естественный отход от еврейства. Это всем известно, что евреем становятся...

Мы должны перестать обижаться, пусть они убегают. Я не смог улизнуть, даже не говорю – не хотел, не получается у меня. Но тем, кто хочет убежать, дай Бог им счастья индивидуального, они ведь нам ничего не должны, никто ничего никому не должен, и может быть, так еврейский народ и выжил, и дух живет.

Но вернемся к нам, потому что важно, кто такие мы. Мы-таки одни. Единство еврейского народа – чисто литературная фраза: единство, потому что других нет. Единственность, в том

смысле, что никто другой не придет и не поможет. По тактическим соображениям может помочь Америка. Ненависть к евреям не такая, чтобы прямо приходиться и убивать, но достаточная для того, чтобы позволить убить. Так что я считаю, никаких друзей у евреев нет, кроме них самих.

Отдельные евреи были гениальными, вообще отдельные люди – гениальны, а народы в целом – глуповаты. Но в чем была сила евреев? В том, что гениальность отдельных людей, маймонидов, моисеев, каким-то путем растворилась и стала частью всего народа. Перед нами сейчас та же ситуация. Под давлением новых ужасов надо, чтобы чуточку поумнел весь народ. На миллиграмм какой-то... Поумнение заключается в том, чтобы у всех людей появилась маленькая добавка.

– *Давай поговорим об еврействе как части Европы и о том, почему существует ненависть к нему.*

– Я считаю, что враждебность по отношению к еврейству больше всего идет от католического мира и его современных последователей. Так

называемое социал-демократическое движение на Западе – это неокатолицизм, особенно во Франции. Хотя он себя принимает за неопротестантство.

– Подожди, подлинная социал-демократия вышла из гетто...

– Да, вышла и ушла. Как христианство.

В Европе большинство людей ни о чем не думают, как они не думали никогда, но думающие люди продолжают жить либо в мире католической идеи, и поэтому евреи плохиши, или по идее протестантской, по которой евреям есть какое-то место, либо по идее исламской. Источник ненависти все-таки католицизм. Парадоксальная вещь: я не чувствую той же злобы к евреям от протестантства и ислама, даже от ислама.

– Несмотря на протестанта Лютера...

– Да, был и Лютер, и есть страшные жидоненавистники в исламе, и все-таки я не чувствую в них такой страшной ненависти, как у като-

ликов, я, который любил Францию и который сейчас ее не любит, потому что увидел, что у нее в глубине. Я живу во Франции, мне там лучше, но я теперь расстался с идеей принадлежности, понял, что я в гетто останусь до конца моей жизни. Точка.

– Ты разлюбил Европу?

– Европа большая, там есть много приятных, милых людей, но идеология... В Европе сейчас есть две идеологии. И одна из них очень ненавидит Америку как носительницу протестантской идеи, в которой евреям есть место. В Северной Европе антиизраилизм с меньшей дозой антисемитизма – из протестантских соображений. Но антиизраилизм без антисемитизма очень редкий теперь продукт во Франции.

Европа искренне ненавидит эту протестантско-жидовскую Америку, и вот тут мой пунктик, который будет сравнительно оригинальным, чувство такое: общий антисемитизм – ненависть европейской прессы и европейских правительств – питается подспудной ненавистью

народа, но в тактическом плане она будет ненавистью к Америке. Израиль рассматривается как кончик хуя Америки. Как американская гвардия.

Европа потеряла свою экономическую релевантность, а также интернационализм и волю к жизни, они перекочевали в Америку, так? Европа строится из суммы национальных эгоизмов. На этом основана их ненависть к Америке.

Я немножко преувеличиваю, но я очень разочаровался в Европе и не вижу там никакого выхода. Поэтому я не считаю, что европейская ненависть превратится завтра в убийство евреев. Но, по крайней мере, проголосовать за уничтожение Израиля – это они всегда сделают, хотя бы как подарок арабскому населению.

Когда были средние века, кто евреев защищал? Сильные. Императоры защищали, папы. И всегда маленькие локальные княжества были против. В империи интернациональный космополитический элемент евреев всегда был полезен, как дрожжи, на которых замешивался имперский человек.

А тем, кто защищал местнический интерес, интерес определенной группы, им евреи были вредны. Это такая простая штука. По этим соображениям огромному котлу американскому евреи по-прежнему полезны и выполняют эту функцию. В Европе евреи эту функцию дрожжей потеряли, они ее уже выполнили, проблема стоит – если кого-то нужно вписать, то арабов, но тут евреи им не в помощь.

Очень трудно чувствовать, что мы без друзей и пока нас не убили потому, что просто не собрались с духом, не было времени, потому, что, как правильно говорят палестинские вожди: «Топчется Запад». А я чувствую, что это так. Может, тоже буду защищаться мифом. Можно защищаться мифом, уменьшая опасность, можно это делать, акцентируя, преувеличивая опасность. Я, как большинство людей славянского мира, ликудник и русский поэт какой-никакой, может быть, преувеличиваю опасность, но у меня впечатление, что эта ненависть не достигла своего максимума и что действительно нужно быть готовым, что уничтожат Израиль. Уничтожат...

Почему я считаю, что нужно любить Америку? Это как любить папу в средние века, потому что, если кто-то будет защищать евреев от уничтожения или спасать, если Израиль будет уничтожен как страна, – это Америка, которая пришлет 200 кораблей, Америка, которая даст территорию штата Вайоминг для поселения, это Америка, которая договорится с арабскими странами... на вывоз 1 500 000 евреев. Это не сделает Европа...

– Ты думаешь, что европейская поддержка арабов не построена на общем таком очумелом гуманизме, как некая плата за прошлые грехи, а основывается на старом... на уничтожении евреев?

– Очень хороший вопрос. Я не знаю подлинного ответа. Мне кажется, элемент этого есть. Поддержка арабов – глубоко католическая позиция. Неокатолицизм в действии. Конечно же, формула, по которой нужно уничтожить евреев, спасение детей, которых эти евреи жгут. В этом смысле арабы выполняют свою роль. Но я думаю, что

ненависть к евреям не является основной идеей католицизма. Он рассматривал это важным делом, но не самым главным. Самым главным было перебить соседей, протестантов зарезать, арабам, кстати, врезать, если можно. А когда есть свободное время, и евреев пожечь. Они не думают все время, что нужно убить евреев, но убить евреев хорошо, полезно, и когда кто-то этим займется, то ему помогут. Как помогут? Добрым словом, советом и т.д.

И тут я осмелюсь спорить с теми, кто считает, что культурные изменения влияют на изменения экономические, стратегические. И что в этой мировой культуре нет наций, там – лучшие люди всего мира, там же моральные ценности – и это нас спасет. Такая точка зрения мне кажется верной, нормальной методологической реакцией, сравнимой с реакцией левых, но это индивидуальная штука. Я тоже так думал, кстати, но думал не столько на уровне культуры, а на уровне науки, для меня культура – все-таки наука. Я считаю науку самым сердцем культуры. Есть надежда в культуре? Нет, нет и нет! Никакого спасения оттуда не

может быть. Будут, конечно, всегда отдельные крики протестующих, очень малозначительные.

Тут у меня разница с тобой. Ты действительно живешь культуру как страну, иначе нельзя, мы, русские интеллигенты, жили культуру как географическое понятие. Это старое русское явление. Я по-прежнему немножко под этим чувством, но я не вижу в культуре моральной основы. Как и в науке. Наука прекрасно может служить злу. Наука не порождает добра, хоть убейся. Я могу представить парки, дворцы, красивую архитектуру, с блестящими учеными, с великолепной литературой, с поэзией тончайшей – и с евреями, посаженными на кол. Потому что плохие должны сидеть на колах.

– *Хорошо. А что же тогда спасет от колов? Если культура – нет, наука – нет?*

– Во-первых, такой глубинный ответ: не знаю. Во-вторых, чуточку более тонкий ответ: надо искать синтез, что-то такое... Религия имеет часть ответа. Может быть, еврейство вообще

растворится и превратится просто в оттенок человечества, я не знаю, не знаю...

– *Почему ты говоришь о религии?*

– Я считаю, что кое-чему удастся научиться и у харедим. Я не говорю, что их надо слушать на сто процентов, они сами не слушают ни черта, для меня религия – это продолжающийся процесс. Например, израильские левые – это нормальное мессианское движение, без которого еврейской карты не существовало бы. Я себя считаю ликудником и думаю, что мы тоже являемся какой-то верой перед громадной ненавистью.

– *Так религия для тебя – любой моральный дискурс?*

– Дискурс, который включает мифы. Наука, даже самая совершенная, всегда включает ноль-гипотезу. То есть наблюдателя. Эйнштейн прекрасно эту теорию развил. Не существует чистого наблюдателя. В религии это принимает форму мифа. Мы смотрим не

на мир, а на мир, перемешанный с нашими желаниями.

– Да, но произошла деконструкция мифа.

– Она не произошла. Просто осознали, что это есть, есть влияние наблюдателя на то, что он видит, и когда говорится «деконструкция», пытаются сузить область этой ноль-гипотезы и свести ее к минимуму. Честный деконструктор никогда не скажет, что это ему удалось. Он скажет: я работал, я чистил, и у меня уровень чистоты повысился.

Вот ложная ситуация. Никто не знает, может, действительно евреи – тараканы человечества и созданы демоном. Человечество, такое светлое и хорошее, никогда не сможет прийти к светлым глубинам, пока последняя жидовская морда не будет вырвана с лица земли. Это такая ноль-гипотеза у антисемитов. Мы почему-то эту ноль-гипотезу взяли и убрали... Правда, ее очень трудно воспринять, реакция на это может и должна включать мифы. Один ответ на такую глобальную ненависть – глобальное, какое-то внутреннее строительство.

Скажу, как я лично из этого дела выходил. Во-первых, я долгое время отрицал опасность. Я пытался увернуться, ускользнуть, старался быть неевреем, пытался использовать положительные стороны этой ненависти к себе, я все эти штучки делал, но не вышло. Я все-таки еврей. Точка. Это меня ненавидят. Как реагировать? Я осознал простые вещи, немудреные.

Первое: как я уже говорил, я решил, что времени нет, все, что происходит, – это старое и это будет. Второе: я решил, что я должен жить, даже еще больше жить, чем до осознания этого. Как-то должен желание жить увеличить, потому что желание смерти, которое посылается в народ, прибыло ко мне.

Я слышу крик: «Умри, умри, умри!» Он направлен, может быть, не прямо ко мне, но я слышу, что он направлен ко мне. Я слышу этот крик, такой постоянный, не то что крикнуло, а потом замолчало, я слышу: «Умри, умри, умри», и хочется создать в себе такую машинку, которая отвечает: «А я буду жить, буду жить». Думаю, что таким ответом будет создание в себе желания жить, соответству-

ющего нсли не по цвету, то по тональности, художник бы сказал, этому пожеланию смерти. Ответить на каком-то эстетско-житейском аргументе. Во всяком случае, услышать это «умри» и как-то пропустить сквозь уши и ответить, может быть, каким-то шепотом... Я сейчас не пытаюсь делать стихи.

Я знаю только одно, что я должен... Что должен? Жить и любить самого себя и заниматься тем евреем, которого мне доверила жизнь, заниматься мной, так? Как ни странно, часть этого крика рассматриваю как радость жизни, радуйся, пока живешь, сейчас, каждую секунду... Может быть, это будет слишком наивно... Ах, раз вы нас так ненавидите, я пойду и пересплю с женой. Получается, я не просто пересплю с женой, а религиозно. В ответ на вашу ненависть. Так я защищаюсь. Совершенно я не считаю виноватыми тех, кто из Израиля убегает. Уж не говоря о тех, кто в Израиль не прибежал. Это важно, потому что они убежали не просто за длинным рублем, они спрятали, увезли ценное еврейское тело, свой еврейский страх. Пусть они его берегут.

– А приезд такого количества неевреев в Израиль меняет еврейское тело?

– У меня такое искреннее ощущение, хотя, боюсь, что я не прав, тот, кто приехал потому, что ему нравится страна, и решил здесь жить, женился здесь, при этих условиях, – это новый еврей. Спасибо, что вошел в это племя, вошел в этот страх, и понес эту племенную муку, и принял эту ненависть.

И что с этой глобальной ненавистью делать? Я могу сейчас точно описать мою индивидуальную защиту. Во-первых, это желание убить еврея я должен осознать. Для этого я постарался почувствовать в себе нацистского палача. У меня всегда была раньше мечта, что надо пытаться палачей. Но сейчас мне нужно было совершить внутреннее путешествие в роль пыточника. Это давнишняя история, но это продолжается у меня всегда, нетрудно позвать в себе что-то внутреннее, чтобы превратиться в пытателя. Я в себе создал личный образ пыточника, это маленькая старая реакция.

Теперь к этой реакции я прибавил другое: я должен был интеллектуально осмыслить ан-

тисемитизм, в его, так сказать, худших проявлениях. Не только пыточник, это ведь только часть, а вообще эту спокойную ненависть. И когда я говорил, что мы, может быть, тараканы, я действительно спокойно, долго воображал, мусолил на языке эту идею: мы – тараканы. И есть у меня – несколько поэтических опытов, есть моя шутка такая: почему мы такие умные? Потому, что когда еврейских женщин насиловали гайдамаки, только сильный здоровый гайдамак мог свою сперму оставить в ней. Я часто такую шутку говорю. Мне надо было защититься тем, что у меня есть некая интеллектуальная свобода. Правда, думаю, так многие делают.

Эти ментальные путешествия – моя индивидуальная защита. Потому что я не могу защититься так – антисемиты плохие, а мы хорошие – и задрапироваться в хорошесть. У меня хорошесть и плохость зарезервированы для других вещей. Мне кажется хорошим албанец, или какой-то отдельный араб. Категория хорошего и плохого для меня просто не действует здесь. Я решил ее сбросить для более тонких измерений. Пред лицом такого гро-

мадного тектонического явления, как антисемитизм, приходится защищаться иначе.

Нам нужно осознать, что такие три народа – харедим, ликудники и левые – мы все, в общем-то, созданы одним и тем же криком: «Умри, умри, умри». Мы все – дети этого крика, как дети единого Бога. Дети единого страха. Не буду говорить, что левые не то что предатели или там дураки, просто отец у них Европа, а мать – крик «Умри». И вот мы, дети единой матери, мы должны друг друга слышать. Я сейчас говорю про религию, не про то – есть Бог или нет, мне кажется, это вопрос совершенно второстепенный. А вопрос о том, что есть религиозная реакция на крик.

То, что сейчас есть харедим, по-моему, это древняя, старая, доказавшая себя форма реакции на «умри» и в их ответе: «Живу, живу, живу» я почувствовал их общность со мной. Мне далеки эти люди, я поверхностно религиозен, поэтически религиозен, и религиозность как форма выживания перед «умри» мне далека. Но я ее там вижу. Я считаю, что если хочет Израиль жить и не умереть скоро, нужно услышать и это. Во всяком случае, самое

простое для нас, интеллигентов еврейских в Израиле или израильствующих еврейских интеллигентов, – это увидеть наше единство реакции перед «умри».

Я должен был договориться сам с собой: почему это я такой еврей-еврей, а в Израиле не живу? Договорился. Решил осознать такой ужас, что я боюсь. Я, например, не даю денег на Израиль. Не хочется. Я ни на что не даю. Да, я такой. И в то же время крик «Умри...» я слышу, ох, еще как. Хотя никто не кричит мне его. Перед лицом опасности я, как любое животное, прижимаю уши и пытаюсь лучше глядеть, у меня глаза прямо из орбит вылезают. И моя реакция на этот крик, этот ужас из меня не уходит никуда. В моих стихах даже написано, что я – скульптура страха, я всю жизнь чего-то боялся и всю жизнь превращал мой страх в творческую штуку. Может быть, это было до того, как я стал евреем, а может, это связано с еврейством. Не знаю. Не знаю – это у меня самое научное, как раз когда я говорю – не знаю, тут-то я и есть ученый. Я горжусь тем, что я сказал, что не знаю причины антисемитизма. Потому что то, что

у меня рвется с губ, слишком залапано моими эмоциями, и моя наблюдательная сила ослабевает. Во всяком случае, знаю только одно: я слышу «умри», идущее сквозь века. Что-то очень страшное. Но, может быть, это все не так на самом деле, никакого антисемитизма нет, и если мы отдадим то, другое, третье, то будет все хорошо, а я слышу... Может, я не прав. Думаю, мы должны углубиться в «живу...», то есть в свое еврейство. Я в это дело включаю железной рукой тех, кто, как я, слышит этот крик.

...Сейчас в Европе такой человек, который мне говорит: «Что там происходит? Я ничего не понимаю!», для меня хороший, значит, он не поддался вранью. Хороший европеец – он чувствует, что явно врут, и хочет спросить...

Надо устоять против крика. Помнишь, как убивал Соловей-разбойник? Свистом. И я сейчас слышу, как Европа свистит, это страшный свист. Слышу и гнусь к земле. Но мне уже поздно убежать; может быть, не убегаю только потому, что поздно, у меня уже ноги так не бегают, а хочется убежать, и в этом смысле только Европа так поет.

– *А Америка не поет?*

– Америка? Просто есть такой богатый город, у которого свои интересы, и он хочет быть богатой хорошей империей, веселой, римской. Они когда-нибудь страшным образом накроются, но пока этот город говорит: да подите вы все... у них нет ненависти к евреям. Американский антисемитизм очень маленький, он есть, есть такое слово «кайк», знаете? Как же, надо знать, кто мы такие есть. «Кайк» по-американски «жид», это в словарях не пишут. И по-японски «жид» есть.

– *А что Россия свистит?*

– Временно Россия ослабла. Именно из России должны были непосредственно прийти и убить. Русский – как заказной убийца. Должен прийти такой Иванов и вlepить из пистолета Макарова две пули. Сейчас у этого заказного убийцы свои проблемы, и у власти стоят американцы. Россия будет всегда страшной, конечно. Но в России кричат бандюжки, и это пока не так ужасно. А

настоящий свист, чтобы между ушами, – это Европа.

Европа очень страшно поет. Почему страшно? Многие думают, что Европа – защита. Так думают все левые, среди остальных так думают те, кто любит культуру. Но этот крик потому и страшный, что идет из глубин европейской культуры.

Это европейская культура призывает вас умереть. Это от имени Микеланджело вам кричат хулиганы, это вам церковь кричит, понимаете, это вам кричит чистота Европы...

увидеть мир целиком

Ирина Солганик (в газете «Вести», 31-1-2008)

В наши палестины ненадолго прибыл Михаил Деза – известный в мире математик, директор исследовательской лаборатории в парижской Эколь Нормаль, член президиума Европейской академии наук. Михаил Деза уехал из Советского Союза в 1971 году, получил французское гражданство, и с тех пор успел объездить едва ли не весь мир. Воспользовавшись тем, что известный ученый оказался в радиусе досягаемости, в тель-авивском центре, я предложила ему свои вопросы; собеседником он оказался блестящим и чрезвычайно обаятельным.

– Вы очень много странствовали по миру, да и сейчас продолжаете разъезжать, – это насущная потребность того, кто вырвался из закрытого общества?

Да, эта нехватка Запада привела к тому, что я как начал ездить, так до сих пор не могу остановиться, – думаю, это одна из немногих больших удач в моей жизни. Разумеется, я езжу по странам, в которых есть математика, и во Франции давно уже не живу, то, что я – французский гражданин, давно стало для меня чем-то неважным, несущественным. Ведь что мы подразумеваем под словом «жить»? Жить – значит принадлежать к какой-либо группе, и я принадлежу к международной группе математиков. Будучи научным работником, я еду туда, куда меня приглашают, и если меня приглашают в Японию, то я с радостью туда отправляюсь на год или на полтора года, но живу я не в Японии, а в математике. За окном шумит листва разных стран, но на самом деле я перехожу с одной математической палубы на другую. К примеру, я был в Пакистане несколько раз, и даже там мне было тепло, поскольку меня окружали ма-

тематики. Ну а пакистанские математики особенно трогательны, поскольку речь идет о детях богатых людей, которые вполне могли бы заниматься чем-то иным, но они предпочли стать учеными, что мило и достойно. В общем, мы живем уже не в той или другой стране, а в международном сообществе, говорящем на одном языке; к примеру, в той же Японии и в Китае все ученые говорят по-английски. Но, конечно, не все ездят так безумно, как я, – а я езжу потому, что мне этого хочется.

– Некогда вы говорили о том, что не любите Запад как таковой, и предпочитаете ему Восток, и, в частности, Японию.

– В Китае, Японии, Корее – трех чудесных странах, которые для меня символизируют Восток, – почти нет такого биологического антисемитизма, как на Западе. На Востоке, особенно в Японии, люди прагматичны и не живут согласно идеологиям.

Ну а западный антисемитизм меня очень пугает. Я ведь не только математик, но еще и еврей, а также русский интеллигент, и вот на

старости лет я стараюсь быть честным и занимать определенные моральные позиции. Следует признать – мир оказался не таким очаровательным, как мне представлялось в 60-е годы, когда я предполагал, что наука меня от всего спасет. Выяснилось, что антисемитизм – ужасная вещь, я пытался его не замечать, но не смог, и, обнаружив, был очень испуган. Вообще говоря, никто не знает, кто такой Амалек и кто служит воплощением зла, и вот мне кажется, что антисемитизм – это приближение зла. Обычно тот, кто ненавидит евреев, ненавидит ясность, ненавидит науку – а я называю наукой дисциплинированный анализ действительности. Хотя, конечно, бывают исключения, и зло – не только антисемитизм.

Как многие русские люди 60-х, я до сих пор считаю, что нации не виноваты, даже немцы не виноваты в том, что произошло, и потому я испугался, когда увидел, что французские и английские интеллигенты имеют свои мнения о народах. Я испугался этой общезападной духовной отсталости.

Как математик я люблю точность, но в данном случае речь идет об ощущениях, которые мне

трудно сформулировать. Запад – а я говорю о Франции, Америке, Англии – меня огорчил. Я обнаружил здесь какую-то человеческую некомпетентность, многие не знают самых элементарных вещей, например, что хорошо и что плохо. Масса людей считает, что их моральный облик определяется тем, за кого они голосуют, и при этом они не знают простой вещи – что их отношение к жене и даже к собаке в сто раз важнее. Но это известно даже самому последнему пакистанскому крестьянину.

Восточные люди приезжают на Запад и говорят – нам здесь холодно, я же приехал и сразу вписался, стал западным интеллигентом. Но постепенно я понял, что группы тех, кого я сначала считал мне подобными, таковыми не являются. Конечно, с отдельным человеком всегда можно наладить отношения, но близких мне групп я не обнаружил, – как оказалось, их проще найти на Востоке.

Я думал, что, когда я приеду во Францию, я подтянусь к высшей культуре, но это была ошибка. Московские 60-е оказались значительнее и выше, если рассматривать их относительно того, что мне действительно важно, – нас тогда

было много, у нас бились сердца, все светились, и я счастлив, что застал эти годы.

В Париже я примерял на себя роль левого, старался понять, глядел, смотрел, и ныне должен признать, что с сексом у них действительно лучше. Поначалу я попал в группу левых, занимавшихся групповым сексом, и был ужасно доволен, – вот какой я умница, какой я сложный, теперь я поумнел, кое-что узнал. Ныне я с теплотой вспоминаю о том, как я в три часа ночи бежал к холодильнику и готовил для всех сэндвичи, – мне хотелось очеловечить участников действия, а то они сидели голые и с очень умными лицами. Но, к сожалению, левизна – я говорю обо всех левых – была страшной ошибкой. Сегодня вы, будучи левым, обязаны не столько ненавидеть капиталистов, сколько ненавидеть Америку и его прихвостня Израиль, или, еще хуже, дьявола-Израиль и его прихвостня Америку. Для меня было большим огорчением понять, что все это неразделимо, и что ненависть левых к Америке и Израилю – совершенно обязательная, биологическая, абсолютная. Вообще говоря, я считаю, что мир по-прежнему остается религиозным – большинство лю-

дей обязано уцепиться за какую-то огромную моральную теорию. Ведь не всем же везет, как мне – у меня была наука, которая эту потребность уменьшила. Левое движение – это нечто вроде неохристианства, это большая моральная идея, построенная на четких образцах добра и зла, и несчастный Израиль стал образцом зла. Я это скушать не могу, я сунулся с одной, с другой, с четвертой и с пятой стороны, использовал какие-то особые подходы, которые у меня были благодаря математике, но понял, – тут не пробьешься. Левые не правы и неисправимы (хотя в индивидуальном порядке, конечно, исправимы), и левизна – это зло. Что, конечно, не оправдывает беспросветной глупости классических правых.

Когда я говорю такие вещи во Франции, люди думают, что это из-за того, что я еврей, хотя все дело в том, что во мне еще жив московский мальчик с определенными понятиями о морали.

В общем, я не могу сказать, что все хорошо, и «отечество нам Царское село». Сейчас, правда, говорят, что в Лондоне и Берлине появляется новая интеллигенция – те, кто думают

не только о деньгах, занимаются искусством, переживают, и т.д. Может, и так – не знаю, я на это пиршество опоздал.

– Франция остается одним из умственных центров мира?

– Нет, ни в коем случае, умственными центрами ныне могут считаться только некоторые университетские городки, размещающиеся в разных странах. Я имею в виду американские, английские, пару-тройку хороших французских, швейцарские университеты. Хотя что такое, к примеру, американский университет – это место, где русские евреи учат математике китайцев. Эти центры – нечто вроде алмазной пыли, и она там, где люди пытаются увидеть мир целиком. Ну а если говорить о странах интеллектуальных центрах, то это, конечно, Америка, хотя очень часто местные интеллектуалы – это иностранцы. Ныне просыпается и Китай, – я часто туда езжу и присутствую при этом очаровательном просыпании, в Китае огромное количество интеллигентов, и культура древняя.

– Действительно ли Париж, этот очаровывающий город-миф, жесток, и его химеры пугающи, как утверждали многие авторы? К примеру, Рильке в своем романе, дописанном к началу Первой мировой, представлял Париж ужасным городом, родственником смерти.

– Он совершенно прав. Если не ошибаюсь, Франсуаза Саган сказала: «Париж – это единственный город, где вы не обязаны быть счастливым». Конечно, Париж съел Францию, как Москва съела Россию, а Токио слопал несчастную Японию, чего, кстати, не произошло в Америке, Германии, Италии. Я был влюблен в Париж и стал парижанином, но в глубине этого чувства таилась немецкая угрюмость, как в известной песне про падающие листья. Собственно, это был момент наибольшей близости с Францией, – я эту песню чувствовал и мне нравилось, что французы умеют очень красиво грустить. А потом, как я вам уже говорил, я увидел поверхностный, вульгарный, глупый антисемитизм интеллигенции, и охладел к Парижу.

Ну кто любит жидов – я тоже их не люблю, – но ненавидеть зачем? Антисемитизм всегда был

формой идеализма. Для российских антисемитов было важным спасти Россию – «Бей жидов, спасай Россию», даже у Гитлера ненависть к евреям была прежде всего формой чистоты, – уничтожь таракана, чтобы жить хорошо. Сила антисемитизма в том, что он всегда обозначал любовь к какой-то определенной чистоте, но все это оказалось абсолютно поверхностным. Я тоже покатал во рту эту шоколадную конфетку, не такой уж я прямо еврей-еврей, чтобы не попробовать прошептать известную французскую фразу: «Что такое антисемитизм? Это ненавидеть евреев больше, чем необходимо». Я тоже могу в этом месте понимающе улыбнуться, но когда я увидел, что все это чрезвычайно скучно, я просто разочаровался. Я так огорчился, что даже потерял интерес к француженкам, хотя до этого бегал за каждой юбкой. Как теперь понимаю, я был простой душой.

Тогда я рванул в Японию и попробовал полюбить Токио, и это получилось. Токио – моя большая любовь, и она продолжается. Люблю Токио спокойной любовью, – не Японию, не храмы, не кимоно, а современный город со всеми его 35 миллионами и станциями метро. Мне нравится

эта форма жизни, – здесь все организовано как в госпитале, по часам, японцы безумно вежливы и никогда не опаздывают – к примеру, люди приходят на свидание на десять минут раньше. В Японии никогда не смешивают ванную и туалет, туалет в одной комнате, а ванна, чтобы помыться и посидеть в горячей воде – в другой. Едят они красиво, вкусно, любовью занимаются хорошо, умеют быть верными друзьями, – то есть культура человеческих отношений резко лучше, чем на Западе.

Потом я пригляделся и увидел, что все это – хотя, быть может, в несколько меньшей степени, – свойственно корейцам и китайцам. Я имею в виду прежде всего средний класс, потому что богатые люди мерзки и противны всюду, богатый японец, который пытается казаться западным человеком, – это ужас. Но с простыми японцами тепло невероятно, и мне в Японии лучше, чем даже в Израиле. Ну конечно, я сочувствую евреям и готов убиться, чтобы Израиль было лучше, но мне хорошо в Японии.

Запад пронизан злом, здесь каждый человек хочет другого отпугнуть, – а на Востоке, не смотря на массу глупостей, уважение к иерар-

хии и прочее, я чувствую себя свободнее и спокойнее. Я не боюсь ни резкого взгляда, ни резкого звука, – в отличие от того же Израиля, где такое возможно из-за двадцати агорот.

В Японии тоже могут сделать все, что угодно, и убить могут, но только если надо, – этого не будут делать без толку. Ну а на Западе люди просто лают, даже Париж для меня – гавканье, а немцы с англичанами, эти великие западные народы, чуть что не так, сразу окрысятся. Мне же хочется покоя, и вот в Японии я чувствую себя покойно, у меня странное чувство, что я лучше всего знаю именно японские правила. Выйти на улицу вечером в Москве невозможно – воздух пропитан насилием, да и в Париже ночью разгуливают наркоманы, у которых глаза блестят. А по ночному Токио, представьте, идет красивая женщина в мини-юбке, которая к тому же пьяна и чуть ли не падает, но к ней никто не подойдет, потому что это невежливо и неудобно. Или другой пример – идет по улице парочка, и муж пьян, и вот пьяный муж сбивает урну, и все рассыпается. После этого он ползает по земле, тычась в нее пьяной мордой, и пытается обратно собрать мусор, потому что знает, что мусор должен лежать

в урне. В Японии и террористу не придет в голову быть невежливым.

Кроме того, среди японских математиков, как оказалось, много простых идеалистов, что мне очень импонирует.

– Вам приходилось бывать и в менее комфортных местах, – к примеру, в том же Пакистане, о котором вы раньше упоминали.

– Вообще говоря, у меня внутренне слабый характер, и я его использую для того, чтобы поддаваться сильным впечатлениям и узнавать новое, как это делают женщины. Они поддаются и многое узнают, а потом оказываются беременны – ребенком или знаниями, и, в общем, я делаю то же самое, всегда стараюсь поддаться. В тот же Пакистан, к примеру, я боялся ехать – а вдруг отрежут голову, но когда приехал – постарался поддаться, и нечто во мне увеличилось. Я увидел этих людей, и теперь я чуток беременный. Знания сначала были тривиальными – я понял, что это такие же люди, как мы. Страна отсталая, пакистанцы ничему не учились, и самое страшное, что там книжки не переводят. Во-

обще в мусульманских странах не переводятся книжки и люди не читают ничего, даже Микки-Мауса, потому, я считаю, жидоненавистничество – это следствие, а не причина. В этих странах по-прежнему полагают, что есть Коран – и хорошо, этого вполне достаточно.

Сейчас в Пакистане роль интеллигенции выполняет армия. Это интеллигенты, нечто вроде наших шестидесятников, они – патриоты, которые пытаются спасти страну. Сначала они попробовали иметь дело с Китаем, а когда из этого ничего не вышло, стали заигрывать с Западом. Сейчас они вдруг решили, что наука им близка, и вбухали в нее огромные деньги, сегодня самые большие деньги математикам платят в Пакистане, – большие, чем в Америке, Японии и т.д. Пакистанцы относятся к знанию с невероятным теплом и думают, что можно его купить, и, кстати, они немедленно купили несколько профессоров из числа тех, что были на рынке. Половина из них – евреи из Москвы и Петербурга, которые дрожат и скрывают свое еврейство.

Представьте себе, что в коридорах университетов через каждые 20 метров стоят солдаты, которые охраняют учащуюся молодежь, – это

надо видеть. Люди верят, что наука их спасет, — но, к сожалению, все так быстро не делается. Ну а пакистанская молодежь, желающая изучать математику, совершенно очаровательна. Те, кто хотят стать интеллигентами в этой стране — просто прелесть, это одни из приятнейших людей в мире.

Вот такие сведения я собираю всю свою жизнь, наливаюсь ими и с ними живу, эти знания — моя родина, я в них купаюсь. Помимо математической компетенции, это, пожалуй, сейчас главная моя компетенция, и, слава Богу, еще присутствует желание во всем разобраться.

Кстати, в свое время — уже много лет назад — я совершил громадное усилие и съездил в арабские страны, провел месяц в Кувейте. Я думал, что разберусь, — ну и что? Мой вывод таков — они не правы. Я не буду выражаться так круто, как Авигдор Либерман, но они не правы.

— Вы стали совершенно синтетическим, международным человеком.

— Мне всегда хотелось одновременно быть и русским, и западным человеком — такой была

моя цель. Когда я прочел Оруэлла, то был совершенно потрясен — абсолютно западный человек сумел проникнуть в психосматику коммунизма, особенно в «Скотном дворе» и «Памяти Каталонии». Это невероятная фигура, и самый симпатичный мне человек в XX веке, я хотел бы быть таким же, хотя, возможно, Оруэлл — не самый выдающийся ум и даже немножко антисемит вначале, но это только делает его свежее. Я предпринял немало усилий для того, чтобы стать таким синтетическим человеком, а стал им или нет — не знаю, но, во всяком случае, довольно близко к этому подошел.

Принадлежать к одной культуре мне кажется довольно глупым. На мой взгляд, надо из себя выдавливать любую нацию — любую, даже самую важную. То значительное, что в нас есть, все равно не исчезнет, а все прочее пусть уходит — но, главное, следует расширяться. По этой же причине я сейчас совершенно влюблен в Википедию, которая показывает, как мир громаден — и по авторам, и по содержанию. Читайте Википедию, это бесплатное и лучшее из возможных путешествий. Да и вообще, чем шире мир, которым вы интересуете-

тесь, тем вы будете лучше, это – путь самосовершенствования.

– Вы с женой составили Энциклопедический словарь расстояний, в котором расстояния рассматриваются применительно ко всем возможным сферам, начиная с расстояний между людьми и заканчивая расстоянием Хаббла и дистанцией небес Сведенборга. Судя по всему, труд грандиозный.

– Я нашел тему, которая меня всю жизнь интересовала, оцепил ее и сделал все лучше, чем в Википедии. Словарь этот уже вышел, в нем 500 страниц, и, кстати, на днях должен появиться русский перевод. Речь в нем идет как о математических, так и о нематематических понятиях, – мне как математику свойственно умение организовывать информацию как таковую, ведь математика – это познавательная чистоплотность, культура знания.

Ныне мы с женой, тоже математиком, пишем второе издание, – на старости лет я увлекся энциклопедизмом. Думаю, что когда-нибудь все это окажется в Википедии или в каком-то ее аналоге, быть может, лет через пятнадцать-

двадцать, а пока наш словарь живет независимо.

Вообще говоря, я каждый день узнаю массу новых вещей, – к примеру, совсем недавно были обнаружены и оживлены бактерии, которым 8 миллионов лет, – я в таких фактах просто купаюсь. Недавно выяснилось, что эволюция нашего биологического вида резко ускорилась – в сто раз за последние несколько тысяч лет. Вы понимаете, какой это невероятный факт – ускорился процесс видообразования! Мне все эти вещи безумно нравятся, хотя, конечно, мне осталось еще лет десять, а видообразование будет длиться неведомо сколько, – но я в этом живу, это мой мир. Поэтому так люблю Википедию, чья сила в том, что она охватывает все, любую тему. Информация сейчас сыпется совершенно невероятная, и со всего мира, позитивные знания превратились в самую увлекательную вещь, которая, по-моему, лучше, чем любая литература. Собственно, я получаю от знаний удовольствие, как от литературы, и в этом смысле храню свою юность, тем более, что ничего лучшего во взрослой жизни не оказалось.

а где портреты ахмадинежа- да?

Ирина Солганик ((в газете «Вести», 30-4-2009)

Недавно в иранском Кашане прошла международная конференция в области математической химии; единственным приглашенным на нее представителем растленного западного мира был известный математик Михаил Деза, директор исследовательской лаборатории в парижской Эколь Нормаль, вице-президент Европейской Академии наук. Я попросила известного ученого и, что немаловажно, опытного и наблюдательного путешественника, исколесившего полмира, поделиться своими впечатлениями.

Следует, вероятно, добавить, что наш разговор проходил в тот самый момент, когда иранский президент успешно выступал на Женевской конференции, обращенной им в сугубо антисемитское мероприятие.

– **К**ашан, где проходила международная конференция – город очень старый, в некоторых источниках говорится, что именно оттуда явились три волхва, принесшие дары младенцу Иисусу. Кроме того, это был важный пункт на шелковом пути, – говорит Михаил Деза. – Город совсем небольшой – всего 350 тыс. человек, и очень богатый, поскольку там делают великолепные ковры, мне, кстати, тоже ковер подарили, и я его с большим трудом довозил до Парижа. В Кашане имеется парочка университетов, ближайший большой город – Исфахан, до которого примерно час езды, а до Тегерана – два с половиной часа.

– *Как я поняла, все приглашенные на конференцию – кроме вас, разумеется, – были из Восточной Европы.*

– Да, был один серб, один румын и три хорвата, один из них приехал с женой, которая, как и любая приезжая дама, была обязана одеть хиджаб. Я оказался единственным представителем развратного Запада, и они меня очень

полюбили, хотя для этого пришлось постараться. Впрочем, мне было интересно, я практически безвыходно сидел в университете и общался со студентами, отвечал на их вопросы по математике, и, в общем, все время был с ними.

Они свозили меня посмотреть несколько любопытных мест – например, я побывал в Силке, многослойном поселении V-I тыс. до н.э., одном из старейших мест, где зародилась цивилизация, – французы откопали там дома, погребения, керамику и прочее.

Потом меня свозили в старые шахские бани – все безумно красиво, настоящие старые бани, но изображения на стенах, как оказалось, были уничтожены революционерами-исламистами, поскольку изображены там были голые женщины. Эту историю мне, кстати, рассказал не экскурсовод, а один из студентов. Аятолла Хомейни очень боролся с голизной, он в первую очередь ненавидел разврат, пришедший с Запада.

Портреты Хомейни развешены на каждом углу, и выглядит он очень сексуально, – если бы я был женщиной, то уступил бы, настолько

он привлекателен и красив. Чуть реже встречаются портреты Али Хаменеи, обычно висят они чуточку ниже, и сразу видно по гнусной физиономии, что мерзкая, противная и слабая шестерка, – говорят, что он и к власти пришел как-то не очень законно. Ни одного портрета Ахмадинежада я не видел, – ни в Кашане, ни в Исфахане, ни в Тегеране. Я спросил – почему, и мне ответили, что он президент, и это не так важно. Таким было мое первое открытие – оказывается, президент и вообще иностранная политика считаются чем-то временным и маловажным. По идее, все бразды правления – у Хаменеи, но он, будучи слабым лидером, не очень управляет.

– А в разговорах Ахмадинежада упоминают?

– Да нет, ведь что о нем говорить? Поначалу все рвались обсуждать со мной политику, но я жестко отказывался, потому что просто боялся, и мне это казалось излишним. А потом пошло и пошло.

И вот мой главный вывод – иранские студенты ужасно похожи на нас, русских, в 70-х годах,

когда уже был Брежнев и начинался застой, но существовало огромное пространство свободы. Мы не были растоптанными дураками, у нас бились сердца, – во Франции и в Америке я этого не видел. И, как ни странно, как ни парадоксально, благодаря фашизму люди еще верят, что есть жизнь – я имею в виду иранских студентов, хороших и милых. Они лучше, чем их ровесники на Западе, потому что еще верят, что есть духовная жизнь, есть Запад и есть свобода.

В Иране идет борьба за душу науки, Ахмадинежад и националисты заявляют, что у них есть своя наука, а интеллигенция, напротив, считает, что наука и культура – это Запад. Я видел, как по телевизору восторженно передавали, что иранцы сами будут производить серебряные пломбы для зубов, – совершенно истерически говорилось, что вот теперь будут наши, иранские наполнители!

Потом еще спутник запустили, – правительство пытается представить все это в виде особой дружбы с наукой, по этой же причине оно поддерживает университеты, остающиеся рассадниками свободомыслия.

В Иране революция была уже 30 лет назад, и она кажется очень старым явлением, чем-то вроде мифа о загробной жизни.

Меня потрясло, что никто (я говорю, опять же, об интеллигенции) не страдает от исламизма, это им кажется ерундой, к которой относятся с улыбкой. Не исламизм там проблема, а внешняя политика, – во всяком случае, то, что они так называют. Многие открыто не одобряют внешнюю политику Ахмадинежада, пришедшего к власти, кстати, благодаря своей экономической программе.

При Хомейни такой жуткой внешней политики не было. Хомейни, это живое воплощение исламизма, в первую очередь пекся о нравах; исходил он из того, что каждому шииту требуется гид, проводник, и основная его идея касалась чистоты – чтобы люди жили чисто, разврат он ненавидел. И действительно, ныне до женитьбы невозможны никакие отношения, многие откладывают секс до лучших времен – вот этого они добились. Бывают очень трогательные ситуации; студент и студентка, которые были друг в друга влюблены, умолили меня, чтобы я позволил им меня прово-

жать до аэропорта в два часа ночи, – они ехали со мной 2,5 часа до Тегерана, поскольку так они могли долго разговаривать друг с другом и быть вместе, что не разрешается, мужчины и женщины там не должны общаться.

При этом женщины не прикрываются полностью, в отличие от некоторых других стран – лица у них открыты, а если баба показала лицо, то, значит, она все уже показала. К тому же некоторые носят одежду на два размера меньше, и еще как видны формы.

Вообще говоря, в Иране 60% населения – женщины, и им позволено учиться, более того, в университетах женщин большинство, насколько я знаю, 65%. Одно время, несколько лет назад, они даже красили губы и носили брюки до щиколоток, и их за это лупили, – в какой-то момент показательно арестовали 150 тыс. женщин, обругали, а потом отпустили. Иностранок также заставляют облачиться в скромный костюм, это такая же норма, как в Европе – запрет насиловать пятилетних детей. Еще до приезда каждого заставляют подписаться под заявлением, что он обязуется уважать местные обычаи и законы, – без это-

го просто не выдадут визу. Мужчины, кстати, тоже одеваются довольно скучно, и, хотя все вроде бы одеты современно, в пиджаки и рубашки, разнообразия никакого.

В общем, сказать, что иранцам так уж плохо, я бы не рискнул.

Они работают и учатся, и нет такого, чтобы совсем забили – если ты выполняешь местные правила, то жить можно. В то же время студенты бегут оттуда со страшной силой, один профессор мне сказал – вот, готовишь их, готовишь, а потом они все уезжают. Каждый год на 100 тыс. мест претендует чуть ли не миллион человек, и отбор там очень суровый, многие не могут пробиться в университеты, поскольку экзамены очень сложные – я бы сказал, одни из сложнейших в мире. При этом университетам расширяться не дают – если расширятся, слишком многие убегут.

– Но как, собственно, можно оттуда уехать?

– Прежде всего, надо получить иностранный паспорт, которым ты не можешь обзавестись, пока не прошел армию или не побывал в «стра-

жах исламской революции» (элитном подразделении, гвардейском корпусе, созданном в 1979 г.). «Стражей» они называют «готовыми к жертве» – то есть это как бы те, кто готовы на жертвы ради ислама и своего народа.

Студенческая среда, конечно, иная – эти молодые люди просто хотят жить свободно, слушать музыку, джаз и рок. В общем, все так, как было в России – люди хотят элементарных вещей. Любовь ко мне – а я, конечно, старался, чтобы меня полюбили, – была потому, что я символизировал Запад. Студенты ко мне подходили, и очень многих интересовал вопрос, как уехать, – проблема в том, что и американцы, и европейцы не дают им визу, ведь кому это нужно.

В общем, повторяю, это были мы 70-х годов, с горящими глупыми сердцами, липнущие к первым встреченным иностранцам.

– Ну а бороться с режимом никто не собирается?

– Это слишком опасно. К тому же надо носить-ся, переделывать, а они переделывать не хотят и голосуют ногами.

Как я уже сказал, меня поразило, что никто не протестует против исламизма – это воспринимается как нечто второстепенное. Исламизм оказался на самом деле не столь страшным, да и вообще исламисты резко ослабли, – сейчас на всех улицах мечети, двери в них открыты – входи, помолись, все прекрасно, красиво, но никто не ходит.

На исламистов, конечно, никто не сердится, но при этом исламизм не победил. И вот поэтому идет вторая волна, ахмадинежадская.

В Иране на самом деле произошли две революции – была революция исламская, а потом – революция «стражей», и эта вторая группа не признана на сто процентов ни студентами, ни большинством, ни самими исламистами. Может быть, это как сталинизм и ленинизм, – при Ленине уже был террор, но сталинизма не было.

Ахмадинежад, между прочим, вылез уже при Хомейни, – в 80-е он состоял в спецподразделении «Стражей исламской революции» и был одним из начальников, но тогда Хомейни не дал этим людям развернуться и

поднял их под себя, а после его смерти все изменилось.

Насчет нынешней ужасной иностранной политики мне говорили несколько человек. Тот же самый профессор, сказавший мне – «мы студентов готовим, готовим, а они уезжают», потом осторожно добавил – «может быть, одна из причин этого – иностранная политика нашего правительства». В общем, все, кажется, понимают, что это – проблема.

И, быть может, в каком-то смысле прав глава Пентагона Роберт Гейтс, заявивший, что если будут бомбить Иран, то это поспособствует тому, что группы, ныне относящиеся к властям недоброжелательно, с ними объединятся.

– Что вы видели в магазинах, на улицах? Проникают ли в это общество западные веяния?

– Запад для иранской молодежи – это музыка и товары, но с этим плохо. Магазины бедноватые, хотя не такие нищие, как, например, в Сирии. В общем и целом Иран не производит впечатления особенно бедной страны, там, к примеру, огромное количество машин, и

нищих на улицах не видно. И, опять же, как в России 70-х – многое уже есть.

Иран почти ничего не производит, а все имеющиеся заводы принадлежат «Стражам исламской революции», и, значит, если ты хочешь вести бизнес, то должен стать «стражем». Все армейское оборудование также принадлежит «стражам», они совершенно отделены, как президентская гвардия Саддама Хусейна. Армия тоже есть, но она маленькая и второстепенная.

– А что показывают по телевизору?

– Телевидение совершенно фашистское, сейчас там обсуждается, какая сволочь Египет, и все в этом духе. В общем, телевидение полностью контролируется Ахмадинежадом.

– Страшно вам не было?

– Значительно менее страшно, чем в Пакистане. Ведь что обещал Хомейни – что он уберет всякую пакость, а заодно и бандитов, и действительно, всех перерезали, посажали по тюрьмам, руки поотрубали даже самым

мелким ворам. И в результате преступность – ноль, они пообещали и сделали, почистили крепко. Ноль, просто ноль, поскольку за малейшее нарушение могут посадить и еще как наказать, даже просто убить. В общем, преступность уничтожена железной рукой, и на роду это, в общем, нравится.

А в Пакистане безумно опасно, – там и исламисты (и страшно – вдруг отрежут голову), и бедные, отовсюду угроза, просто сравнивать нельзя. Например, в Карачи мечутся многие миллионы бедных, и самые обычные кварталы, в которых живут богатые, охраняют солдаты. Смешивать богатых с бедными там просто нельзя – первых сразу убьют; а средний класс как таковой не существует. Университетские профессора обретаются, конечно, в охраняемых армией богатых кварталах, – простой человек заходит туда только по пропуску, а все остальные, снаружи, живут в говне. Да и в коридорах университетов через каждые 20 метров стоят солдаты, которые охраняют учащуюся молодежь (а студенты в Пакистане – только из богатых семей).

Кстати, выступая в Кашане перед громадной

аудиторией, я сказал, что я – не француз и не русский, и не еврей (так я сообщил всем, что – еврей) и добавил дальше дрожащим голосом, что я – не японец (последний год я работаю в Японии). Моя национальность – наука, и наука также – моя религия, и именно поэтому я так восхищен тем, что в Иране люди любят науку больше, чем во Франции. Дальше я продолжил, что главная заслуга науки – это не генетический код, и не физика Большого взрыва, и, конечно, не атомная бомба (тут все замолчали). Самое главное достижение науки – что мы, ученые, уже стали интернациональным сообществом, каким когда-нибудь станет все человечество. Они помолчали, а потом хлопали, как звери. Если в первое время я боялся страшно, и они тоже боялись, поскольку я все же – иностранец (хотя боялись не больше, чем мы в свое время в Союзе), то после этого выступления я уже сказал студентам, что я – еврей и что настроен произраильски. Они засмеялись и разошлись по комнатам. В общем, настрой студентов таков, что я назвал бы его спокойным неприятием своей страны, хотя, конечно, революцию они не готовят.

о ларе, алике, хвосте, серёже

Тексты о Ларе (Ольге Ивинской)
и Алике (Александре Гинзбурге)
взяты из моего длинного интервью
Лиле Панн в 1996.

Страничка о Хвосте (Алексее Хвостенко)
опубликована в замечательной книжке
ПРО ХВОСТА (Пробел, 2010, Москва).

Страничка о Серёже (Сергее Чудакове)
появится в в готовящейся книжке о нём.

о ларе (разговор с лилей панн)

– Миша, вы меня немало удивили, давеча заметив самым обыденным тоном, как бы в скобках, что Ольга Ивинская, которая, к нашей общей печали, умерла полгода назад, – ваша приемная мать. Отсюда – наш разговор. Поскольку она вдохновила (в какой степени, это отдельный вопрос) Пастернака на образ Лары, а образ этот бесспорно не уступает вершинным достижениям в раскрытии мировой литературой «женской доли» («И так как с малых детских лет / Я ранен женской долей, / И след поэта – только след / Ее путей – не боле»), прежде всего, хотелось бы узнать о вашем отношении к роману «Доктор Живаго». Ведь мнения о его художественной силе в целом, причем мнения самых достойных читателей, колеблются от восхищения до отрицания.

Книгу эту я уважаю, но не люблю. Даже прекрасные стихи в ней – только очень уважаю. Больше ценю раннюю прозу Пастернака. А в «Живаго» я слишком чувствую несправимо еврейское сердце в конвульсиях невозможной ассимиляции.

– Любить такую книгу было бы мазохизмом, правильно я вас поняла? Так или иначе, надеюсь, своим впечатлением вы не поделились с Ивинской, она бы сильно расстроилась – и за Бориса Леонидовича, и за себя: русская женщина, в лучшем смысле этого понятия, она стихийно не могла не способствовать более полной и счастливой его ассимиляции.

– Совершенно верно.

– А в какой из «русских женщин» – Ольге или Ларе – больше для вас магии, что так значима для вашего существования?

– В реальной женщине. Конечно, Лара из романа светится, как драгоценный камень. Но она, по вине литературы, вся облизана/обмазана любовью героя. Любовью негрязной, почти религиозной, но эта невидимая корочка любви к ней и к себе, закрепляет икону и упрощает модель. Я же видел Ольгу Всеволодовну скорее в профиль, то есть меньше, но точнее, видел ее переливчатость как матери/любовницы/пантеры.

– Вся эта «переливчатость» и прославила образ Лары, но где ей соперничать с живой и поэтому еще более переливчатой Ольгой!

А когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Ивинской?

– В году 1955-м. Или 56-м. Мне было тогда лет 16 – 17, и я впервые испытал сильное действие на меня интеллигентной русской женщины. Первый гром Женского. Чуть раньше я познакомился с подругой Ивинской – Верой Николаевной Ключевой, матерью моего одноклассника Юры Любарского, которая тоже сыграла в моей жизни важную роль, даже ключевую, можно сказать. Она первая вызвала у меня желание быть русским интеллигентом. Поэтесса, в 30-е годы у нее было какое-то имя, а теперь она преподавала в Инязе. Эти две женщины печатали вместе «Доктора Живаго». Я тогда прочел их машинопись, помню, на плохой бумаге. Ольга Всеволодовна года три как вернулась из первого заключения (1949 – 1953). Это были те женщины, которые выживали там, где мужчины погибали (как Мандельштам и другие).

В Ольге Всеволодовне я видел перед собой женщину, полную страстей и одновременно нравственных понятий. Это то, что меня всегда восхищало в русских женщинах.

– *Русских по крови?*

– Русских по роли.

– *Понятно. Ивинская, по происхождению, наполовину полька, на четверть – немка. Отсюда у Лары девичья фамилия Гишар.*

И много вы встречали таких «русских по роли»?

– В жизни мало, в книжках – больше. Скажем, в «Днях Турбиных», где представлены женщины, как-то удачно сочетающие в себе плоть и дух.

– *А Маргарита из «Мастера и Маргариты»?*

– В Маргарите есть нажим ненужный. Есть такая неприятная фраза: «А ты меня прогнать не можешь, Мастер». А вот О.В. всем в себе светила. Женская духовность растворяет нечто

опасное в ней. Это на самом деле социальная роль, есть такая модель поведения.

Эту роль не так удачно пытается играть Марья Васильевна Синявская, роль женщины с горячим сердцем и справедливой, той, что всегда права. Она одновременно настаивает на своей женственности и на роли абсолютного слушателя, идеального члена жюри.

– *Она прекрасно справляется с ролью издателя «Синтаксиса», а это немало: журнал необходим как оппонент «Континенту», да и вообще интересен. Перестройка, конечно, притушила его актуальность.*

Интересно, что в Марье Васильевне некоторые видели Маргариту – то-то у вас к ней несколько критическое отношение. Но вернемся к Ольге Ивинской вашей юности.

– Я был тогда мальчишкой, когда приходил в ее дом.

В этой семье была еще бабушка с очень сильным и свободным характером, красивая и в старости. Это она, Мария Николаевна, воспитала О.В., а та дочь Иру...

– Я училась в той же школе в Потаповском переулке, что и Ира Емельянова. Но продолжайте.

– ...Я дружил с сыном О.В. – Митей Виноградовым (ее дети были от разных мужей), он потом женился на сестре моей первой жены, мы свояки. После возвращения О.В. из второго заключения (1960 – 1964) я, благодаря Мите, видел ее чаще, но всегда как товарищ ее сына.

Есть такая улыбка, что ты сразу чувствуешь, что мы все словно находимся на какой-то сцене, спектакле доброжелательном, ты понимаешь, что не можешь распуститься. Что-то есть даже эротическое, когда женщина спрашивает, чем ты занимаешься. Может превратиться в эротику, но пока это уже счастье, что тобой интересуются и мир расширился. Сладостная минута.

– Забавно, что почти в те же годы, через несколько домов от дома Ивинской в Потаповском переулке – прямо на Маросейке – очень похожее по ощущению счастье расширения мира, с эросом на горизонте, я переживала через разговоры с взрослым человеком противоположного пола –

своим школьным учителем литературы Юлием Марковичем Даниэлем. Для девочек он играл «мужскую», но тоже «русскую роль», как вы ее определяете. Кстати, на известной фотографии Ивинской в толпе у гроба Пастернака почти рядом с ней стоит Даниэль. Вообще-то неудивительно: они ведь с Синявским (и другими) гроб из дома выносили, есть и такая известная фотография. Но вернемся к «русским женщинам».

– Женщиной того же типа, что и О.В., была мать Алика Гинзбурга, Людмила Ильинишна. И, уверен, мать Волошина. Это были те самые отдельные, чудесные женщины, которые в рамках определенной русской традиции, создали некий код, который позволял посылать в условиях патриархального советского общества, сигнал женственности и тепла, некое чудо. Я это видел очень редко. О.В. была абсолютной слушательницей, ее женственность выражалась, в частности, в этом.

– Но и умение говорить, рассказать что-то не должно было мешать этой особой женственности.

– Еще бы! Эти женщины построили нам дом из своей памяти.

Каждый человек может расширить свое «эго» – все мы живем в «эго» своих знакомых – сделать из своей памяти удобное пространство для других. Я дорожил местом в мире этих женщин.

– Так поэтому Ольга Ивинская – приемная мать для вас?

– Приемной матерью были одновременно она и Вера Николаевна. Потому что понятие женской сути я от своей мамы не получил.

Через восхищение такими людьми, как О.В., восхищение той самой неразделимостью плотского и духовного начала, мне ранее незнакомой, через это невероятное обаяние, я понял ту правильную эротику, которая одновременно и служение, и трансформация через призыв женщины. Мне казался всегда мучительным разрыв между человеческим и женским...

– Вы тут не один, Миша, а в хорошей компании: Толстой, Бунин, Чехов, Платонов...

– Я чувствовал, что она правильно обращается ко мне: не как к самцу, который во мне второстепенен, а как к трепещущему ребенку, каким я был и остался. Я чувствовал себя «на родине» – как на плакате военных лет «Родина-мать зовет». Эта женщина, не очень красивая – она для меня О.В.

– Постойте, насколько можно судить по фотографиям, Ивинская была очень красивой.

– Да, да, да. Красота была такая: дорожишь ее мнением.

Была в ней какая-то необыкновенная щедрость, женская, внушавшая, что всё возможно, что взаимопонимание может перейти в сильную эмоцию, даже «секс». Но поскольку я был вне ее «секса», мне доставалось это очаровательное чувство, что мир стал значительным. Человеческая воля была упакована в женственность. Некоторых это пугает, потому что кажется вульгарным. Но для меня она была музой. Она излучала какой-то на всех направленный эрос, всё в ней было жизненный порыв.

– На эросе построен призыв любого лидера к толпе, эрос с греческого на латынь переводится как строитель мостов, *pontifex*.

– Ну да, просто эта неразделимость эмоционального, морального, личного и общественного была и в этом плакате и в этих женщинах. Вообще, люди – это зеркала, через которые мы смотрим, кто мы есть.

Я людей сравниваю по тому, каким я вижу себя через их зеркала.

Сквозь глаза Ольги Всеволодовны, видел себя ни мужчиной, ни женщиной, просто хорошим и красивым.

– Обычно человек это самовосприятие получает от матери.

– Мне мать этого не дала. Поэтому я называю О.В. своей приемной матерью. Эта женщина сумела дать необходимую дозу тепла и внимания очень многим. Каждое ее действие было свободой.

У меня осталось сильное впечатление чистого образа.

– Уверена, он не померк после чтения ее мемуаров «Годы жизни с Пастернаком. В плену времени». Как вам эта книга?

– Спокойно хорошо. Ее любили одни, но и ненавидели – также страстно – другие, например, клан второй жены Пастернака. О.В. нужно было объясниться, уложить как-то свою память и память о ней.

– Такого живого Пастернака-человека никто нам не оставил. И ее свидетельство о безумном времени даже на фоне океана написанного не затеряется. Бесценная и просто жутко интересная книга. В моей жизни она еще произвела, так сказать, *side-effect*: завела меня в мир цветаеведения, причем благодаря одной забавной ошибке автора.

Всё началось с того, что мне бросилась в глаза сноска к тексту на задней стороне обложки первого издания мемуаров Ивинской на русском (во Франции: *Fayard*, 1978): «Неопубликованный вариант стихотворения “Магдалина” Бориса Пастернака». Удивило, что в «варианте» говорит не Магдалина, как у Пастернака («У людей пред праздником уборка...»), а Иисус:

*О путях твоих пытаться не буду, —
Милая, ведь все сбылось.
Я был бос, а ты меня обула
Ливнями волос —
И слез.*

*Не спрошу тебя, — какой ценою
Эти куплены масла.
Я был наг, а ты меня волною
тела — как стеною
Обнесла.*

*Наготу твою перстами трону
Тише вод и ниже трав.
Я был прям, а ты меня наклону
Нежности наставила, припав.*

*В волосах своих мне яму вырой,
Спеленай меня без льна.
— Мироносица! К чему мне миро?
Ты меня омыла,
Как волна.*

Почему Ивинская приписала Пастернаку стихотворение Цветаевой, опубликованное в сборнике «После России» (1928)?

Возможно потому, что этой книги она не видела, а видела и читала текст, который после смерти Пастернака был найден в его архиве, причем в четырех экземплярах, переписанных его рукой (!) и... без указания на автора. Видно стихи сказали что-то столь существенное о любви, связавшей Б.Л. и О.В., что она была уверена в авторстве Пастернака. Меня этот трогательный курьез заставил вчитываться в эти «Магдалины» и в их окружение, заинтересовал Цветаевой всерьез, в те годы я знала ее творчество лишь хрестоматийно. Профессиональным цветаеведом я не стала, но род занятий у меня сменился с технического на литературный. Одну из моих статей я посвятила в год смерти Ольги Ивинской ее памяти.

о б а л и к е

Алик был сначала коллекционером марок. Затем стал коллекционировать людей.

Он был единственным, кто слушал интеллигентов, все остальные говорили. Когда мы были уже близкими друзьями, он сказал : «Мы ходим с мешками по людям». Он был защитником интеллигентской сущности, культуры как биологической субстанции.

Сам Гинзбург претендовал НЕ быть создателем. Когда он, замученный большевиками, попадает в лагерь, то стал электриком. Он просто подходил к жизни; вот сломалась лампа – дай-ка я погляжу. Это похоже на эротику. Во-первых, ему была интересна лампа, во-вторых, он хотел помочь. Поэтому он не стал никогда Буковским, который жил идеями, хотя они оба – молодцы. Но диссидентство было рождено одним человеком, Аликом. Когда Коперник первый сказал, что Земля – не центр вселенной, его аргументы были, кстати, ненаучными. Он создал идею, парадигму, которую можно потом развивать. До Алика был только кружок литераторов «Шандор Петефи» в Будапеште. Алик придумал идею собирания ис-

кусства, и эта идея превратилась в идею диссидентства. Идею культуры, как личности, и личности несогласной.

Алик сосредоточил и услышал желание интеллигенции иметь свой голос. У него была неслыханная чистота, неизменно, в течении всей жизни, ею все соединялись.

Сначала он сидел за «Синтаксис», за подлинный первый «Синтаксис», который печатался на машинке. Вся идея Самиздата – это Алик Гинзбург. Когда он сел второй раз, это имело отношение ко мне: «Белая Книга» печаталась на моей машинке. Я был женат на француженке и у неё была машинка с русским шрифтом из Франции. Она не была зарегистрирована у кегебешников. Меня тоже могли посадить, а жену – выслать. Она была секретаршей корреспондента «Фигаро» в Москве, Жоржа Бортоли. Алик просил у меня машинку давно, но я не давал, боялся. Однажды он предложил в обмен одолжить отличную картину Рабина, чтобы она повисела у меня, и я дал ему машинку. Алика мучили, трясли за каждую деталь. Но он не признался о машинке. Помнил, что я её давать не хотел, что он меня немножко использовал.

А в деле «Белой Книги» (о деле Синявского—Даниеля) он просто собрал бумажки, никакой претензии в этом не было, это было сделано, чтобы не пропала культура. Это шло у него от коллекционирования марок, не должны были пропасть люди-марки.

Когда Алика освободили, оказался он — седой.

Я встретился с ним на Западе через много лет. Он по-прежнему больше честный чем умный. Американские профсоюзы, которые назначили его своим как бы моральным представителем, поддержали кандидатуру Уолтера Мондэйла на президентство, и Алику поручили защитить это. Он отказался и его выгнали с работы. Алик — рабочий, в самом высшем смысле этого слова. Никогда от него не было зла. Никогда он не воспринимал себя всерьёз, хотя мог, должен бы.

О ХВОСТЕ

Я знаю Хвоста более сорока лет. Из всех светлых людей моей далекой московской юности только он и Алик Гинзбург оказались, с восьмидесятых, в Paris (то есть Париж, Нью-Йорк, и все это Там) во второй и последней жизни. Виделись мы, конечно, нечасто, но был я свидетелем его пути. Сейчас, в мои 67 лет, пора привыкать к значимым смертям, то есть к тем, когда невозвратимой частью умираешь сам.

Но Смерть Алеши Хвостенко оказалось такой вырвавшейся болью, такой немислимой, как смерть детей...

1959. Мы с Аликом Гинзбургом приехали в Питер, с вечернего Московского вокзала прямо в зоопарк, где Алеша служит сторожем-кормильцем при тиграх. Хвост жарит тигриное (в смысле, их корм) мясо и мы вместе с его Дуськой-манекенщицей едим это и пьем водку, русское счастье. Все невероятно вкусно, все, особенно сам Хвост, абсолютно красиво. Ревут огорченные близкие тигры.

А было нам 19 лет...

После были стихи и черная ленинградская богема, и Хвост был уже художник-скульптор: тогда он

лепил краской прямо из тюбиков на небольших холстах. Кстати, о нравах той богемы: позже, на литературной вечеринке та же красавица-Дуська, от ревности, ударила Хвоста «пером», и Хвост, обливаясь кровью, велел присутствующим, ну не в коем случае, не говорить ментам.

Конечно, люди не меняются. Но поставить так высоко сначала – божьей милостью универсальный артист Возрождения, в вечном празднике – и удержать до конца эту вечную юность: Хвост был таким единственным среди виденных мною людей.

Второй flash-back, 1960(?) Я обещал Алиске Тилле, верной сестричке, показать самых красивых людей: Алешу Хвостенко в Питере, Томаса Вентслова в Вильнюсе и Юлика Златкиса в Одессе. Но Хвост приехал в Москву сам, и вскоре они увиделись... Хвост переехал к ней в Москву.

С их любви, красоты, юности рождается Анюта, сейчас прекрасный музыкант и мать двух детей. Пусть побегут ниточки его потомства в эту чудную бесконечность будущего, без нас.

В семидесятых мы часто играли в шахматы в их квартире, где Хвост, артист-артист, но порой бивал меня, математика, одной волей.

Помню на одном «балу» у него в струящемся празднике (стихи, дружба, любовь и много наркоты) покойный Ваня Тимашев давит на меня, чтобы я взял траву. Я отбиваюсь: «не хочу вводить в себя химию», а Ваня нависает: «а что, картошка не химия?». Появляется Хвост и высокой своей властью освобождает меня: «оставь его, он (с нами) по мнению».

А также я всегда завидовал, как любили Хвоста женщины и, главное, что потом говорили о нем только с улыбкой и сладкой памятью.

Любили его без памяти и друзья: соратники по творчеству, как его главный соавтор Анри Волохонский, и защитники по жизни, как Афоня, русская муза Парижа.

Сумел Хвост не измениться под кислотами Запада: безденежье, бездружье. Не описывая всех скитаний его души, свидетельствую: бил из него, всегда, источник вечной юности, в той алхимии, где не отличишь искусство от любви и, вообще, искусство от жизни.

о серёже

Серёжа и я были, скорее, соперниками в роли только-речевого поэта-соблазнителя.

Только он больше жал на дьяволизм, а я на знания.

Я не вылезал из Националя (кафе на Арбатской площади) и он, 1-3 раза в день подсаживался ко мне. И мы фехтовали словами.

Да, он был острее и полон культуры. Я спасался только особыми знаниями (обычно, наукой). «Проиграв», он улыбался неожиданно светлой улыбкой.

Он вёл себя как демон только на большом и на близком расстоянии.

А на нашем расстоянии длинной шпаги, он был ОК, весёлый и лукаво-честный.

С ним было опасно (он собирал/перепродавал сплетни), но зато всегда интересно.

Свои стихи были для него просто одним из его видов оружия и не самым любимым.

Нас сблизжала редкая тогда для 60-ников позиция: брать жизнь только целиком, но и жить, в основном, только в словах.

содержание

введение	3
стихи	
59 – 62	6
о миниатюрах михаила деза (игорь ефимов)	49
73 – 76	52
путями времени	70
brevitas	94
интервью русской эмигрантской прессе	
отделиться от зубцов ящера	116
есть ли жизнь после литературы	130
не бойся, не надейся, не проси	164
свободу обществу потребления!	178
это европейская культура призывает вас умереть	188
увидеть мир целиком	218
а где портреты ахмадинежада?	236
о ларе, алике, хвосте, серёже	250



михаил деза
владимир вейсберг, 1962



михаил деза
борис жутовский, 1985

п р и м е ч а н и я

СТИХИ

- 1) Сборник стихов «59-62» Париж: Синтаксис, 1983
<http://dc.lib.unc.edu/cdm/item/collection/rbr/?id=30912>
(часть была на стр. 79-86 в журнале «Эхо», 3, 1978)
- 2) Поэма «1973-1976» (с предисловием И. Ефимова)
в журнале «Новая юность» 2013 №6 (117)
http://magazines.russ.ru/nov_yun/2013/6/4d.html
- 3) Поэма «Путями Времени» в журнале «Семь искусств» 2014
№ 2-3 (50)
http://7iskusstv.com/2014/Nomer2_3/Deza1.php
- 4) Поэма «Brevitas» в журнале «Семь искусств» 2014 № 5 (52)
<http://7iskusstv.com/2014/Nomer5/Deza1.php>

РУССКАЯ ЧАСТЬ ВЕБ-СТРАНИЦЫ ДЕЗА

<http://www.liga.ens.fr/~deza/InRussian/mytexts+infoinRussian.html>

КНИГИ ПО МАТЕМАТИКЕ ПЕРЕВЕДЁННЫЕ В РОССИИ

- 1) Deza, M. & Laurent, M. (1997), «Geometry of Cuts and Metrics»,
vol. 15, Algorithms and Combinatorics, Springer,
ISBN 3-540-61611-X.
Русский перевод: Деза М., Лоран М. Геометрия разрезов
и метрик,
Москва, МЦНМО, 2001. ISBN 5-900916-84-7
<http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=3962>

- 2) Deza, M.; Grishukhin, V. & Shtogrin, M. (2004), «Scale-isometric
Polytopal Graphsin Hypercubes and Cubic Lattices», Imperial
College Press,
ISBN 1-86094-421-3.
Русский перевод: Деза М., Гришухин В., Штогрин М. Изометрические
полиэдральные подграфы в гиперкубах и кубических решетках,
Москва, МЦНМО, 2008. ISBN 978-5-94057-363-0
<http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=80698>
- 3) Deza, E. & Deza, M. (2006), «Dictionary of Distances», Elsevier,
ISBN 044452087-2.
Русский перевод: Деза Е., Деза М. Энциклопедический словарь
расстояний,
Москва, Наука, 2008. ISBN 978-5-02-036043-3
<http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=87541>
- 4) Deza, M. & Dutour Sikirić, M. (2008), «Geometry of Chemical
Graphs: polycycles and two-faced maps», vol. 119, Encyclopedia
of Mathematics and its Applications, Cambridge University Press,
ISBN 978-0-521-87307-9.
Русский перевод: Деза М., Дютур Сикирич, М. Геометрия
химических графов: полициклы и биполициклы, Москва и
Ижевск, Ижевский институт компьютерных исследований,
2012. ISBN 978-5-93972
http://shop.rcd.ru/catalog/351/16634/?sphrase_id=33.
- 5) Deza, E. & Deza, M. (2011), «Figurate Numbers»,
World Scientific,
ISBN 978-981-4355-48-3.
Русский перевод: Деза Е., Деза М. Фигурные числа,
Москва, МЦНМО, 2014.

мишель мари деза

стихи и интервью

подписано в печать 04.06.2014
формат 70x90/₃₂, объем 10 усл. печ.л.
тираж 500 экз.

ISBN 978-5-98604-442-2



отпечатано в типографии издательства «пробел-2000»
тел. (495) 287-06-19 e-mail: probel-2000@mail.ru